

Орест Сомов

Сказки о кладах

Сомов Орест

Сказки о кладах

Орест Михайлович Сомов

Сказки о кладах

Жители С...го уезда и теперь, я думаю, помнят одного из тамошних помещиков, отставного гусарского майора Максима Кирилловича Нешпету. Он жил в степной деревушке, верстах в тридцати от уездного города, и был очень известен в тамошнем околотке как самый хлебосольный пан и самый неутомимый охотник. Нимврод и король Дагоберт едва ль не уступили бы ему в беспощадной вражде к черной и красной дичи и в нежной привязанности к собакам. Привязанность эта до того доходила, что собаки съедали у него весь годовой запас овса и ячменя; а чего не съедали собаки, то помогали докончить добрые соседи, большие охотники порыскать в поле с гончими и борзыми и еще больше охотники поесть и попить сами и покормить скотов своих на чужой счет.

При таком хозяйственном распорядке, мудрено ли, что небогатый годовой доход от тридцати душ крестьян и небольшого участка земли был ежегодно съеден в самом буквальном смысле. Этого мало: добрый майор,

из жалости, никогда не раздавал щенков в чужие руки, а псарня его плодилась на диво; с умножением псарни должны были поневоле умножиться и расходы. Прибавьте к тому, что шесть самых видных и дюжих парней из его деревушки переряжены были в псарей; что при таком обширном охотничьем заведении необходимо было иметь несколько лошадей лишних как для самого майора, так и для псарей его, а часто еще для одного или двоих из добрых приятелей, у которых собственные лошади всегда находили средство или раскостаться, или вывихнуть себе ноги. Полевые работы шли плохо, потому что шестеро псарей в осень и в зиму день при дне скакали за зайцами и лисицами, а остальную часть года или отдыхали, или ухаживали за собаками, следовательно, вовсе оторваны были от барщины и от домов своих; а потеря дюжины здоровых рук в небольшом сельском хозяйстве есть потеря весьма значительная. Так, год от года, псарня доброго майора плодилась, расходы умножались, доходы уменьшались, а долги нарастали и чрез несколько лет сделались, по его состоянию, почти неоплатными.

Это бы все ничего, если бы майор был сам своею головою; но у него было два сына и дочь, молодая и прелестная Ганнуся, расцветшая со всею свежестью красавицы малороссийской. Она составляла главную заботу бедного и неосторожного отца. Сыновья удились в губернском городе; и майор говаривал, что с божьею помощью и своим рассудком они вступят со временем в службу и будут людьми; но Ганнуся была уже невеста: где ей найти жениха, без приданого, и как ей остаться сиротою после смерти отца, без хлеба насущного?

Такие мысли почти неотступно тревожили доброго майора; он сделался уныл и задумчив. Часто тяжкая дума садилась к нему на седло, шпорила или сдерживала невпопад коня его, заставляла пропускать дичь мимо глаз или метила ружьем его в кость, вместо зайца. Часто, в долгую зимнюю ночь, злодейка-грусть закрадывалась к нему под подушку, накликала бессонницу и с нею все сбыточные и несбыточные страхи. То слышался ему звонкий колокольчик: вот едут судовые описывать имение и продавать с молотка; то чу-

дилось, что он лежит в гробу под тяжелою могильною насыпью, и между тем бедная Ганнуся, сиротою и в чужих людях, горькими слезами обливает горький кусок хлеба. Голова его пылала, в глазах светились искры; скоро эти искры превращались в пожар... ему казалось, что дом в огне, в ушах отзывался звон набата... он вскакивал; и хотя страшные мечты исчезали, но биение сердца и тревоги душевные гнали его с постели. Он скорыми, неровными шагами ходил по комнате, пока усталость, а не дремота, снова укладывала его на жгущие подушки.

В одну из таких бессонных ночей, лежа и ворочаясь на кровати, выискивал он в голове своей, чем бы разбить свою тоску и рассеять мрачные думы. Ему вспало на мысль пере-смотреть старинные бумаги, со времени еще деда Майорова уложенные в крепкий дубовый сундуч и хранившиеся у старика под кроватью, по смерти же его, отцом Майоровым, со всякою другою ненужною рухлядью, отправленные в том же сундуке на бессрочный отдых в темном углу чердака. Сам майор, никогда не читая за недосугом, оставлял их в

полное распоряжение моли и сырости; а люди, зная, что тут нечем поживиться, очень равнодушно проходили мимо сундука и даже на него не взглядывали. Чего не придет в голову с тоски и скуки! Теперь майор будит своих хлопцев, посылает их с фонарем на чердак и ждет не дождется, чтоб они принесли к нему сундук. Наконец, четверо хлопцев насилу его втащили: он был обит широкими полосами листового железа, замкнут большим всячим замком и сверх того в несколько рядов перевязан когда-то крепкими веревками, от которых протянуты были бичевки, припечатанные дедовскою печатью на крышке и под нею. Хлопцы с стуком опустили сундук на землю; перегнившие веревки отскочили сами собою, и пыль, наслоившаяся на нем за несколько десятков лет, столбом взвивалась от крышки. Майор еще прежде отыскал ключ, вложил его в замок и сильно повернул, но труд этот был излишний: язычок замка перержавел от сырости и отпал при первом прикосновении ключа, дужка отвалилась, и замок упал на пол. То же было и с крышкой, у которой ржа переела железные петли.

Тяжелый запах от спершейся в бумагах сырости не удержал майора: он бодро приступил к делу. Хлопцы, уважая грамотность своего пана и дивясь небывалому дотоле в нем припадку любочтения, почтительно отступили за дверь и молча пожелали ему столько же удовольствия от кипы пыльных бумаг, сколько сами надеялись найти на жестких своих постелях. Между тем майор вынимал один по одному большие свитки, или бумаги, склеенные между собою в виде длинной ленты и скатанные в трубку. То были старинные купчие крепости, записи, отказные и проч. на поместья и усадьбы, давно уже распроданные его предками или перешедшие в чужой род; два или три гетманские универсала, на которых "имярек гетман, божиею милостию, такой-то", подписал рукою властною. Все это мало удовлетворяло любопытству майора, пока наконец не попались ему на глаза несколько тетрадей старой уставчатой рукописи, где, между сказками о Соловье-разбойнике, о Семи мудрецах и о Юноше и тому подобными, одна небольшая, полусотлевшая тетрадка обратила на себя особенное его внимание. Она

была исписана мелким письмом, без всякого заглавия, но когда майор пробежал несколько строк, то уже не мог с нею расстаться. И вправду, волшебство этой рукописи было непреодолимо. Вот как она начиналась.

Попутчик Сагайдачного Шляха берет от Трех Курганов поворот к Долгой Могиле. Там останавливается он на холме, откуда в день шестого августа, за час до солнечного заката, человеческая тень ложится на полверсты по равнине, идет к тому месту, где тень оканчивается, начинает рыть землю и, докопавшись на сажень, находит битый кирпич, черепья глиняной посуды и слой угольев. Под ними лежит большой сундук, в котором Худояр спрятал три большие серебряные стопы, тридцать ниток крупного жемчуга, множество золотых перстней, ожерелий и серег с дорогими камнями и шесть тысяч польских злотых в кожаном мешке...

Словом, это было Сказание о кладах, зарытых в разных местах Малороссии и Украины. Чем далее читал Максим Кириллович, тем более дивился, что он живет на такой земле, где стоит только порыться на сажень в глубину,

чтоб быть в золоте по самое горло: так, по словам этой рукописи, страна сия была усеяна подспудными сокровищами. Как не отведать счастья поисками этих сокровищ? Дело, казалось, такое легкое, а добыча такая богатая. Одно только не допускало майора на другой же день приступить к сим поискам: тогда была зима, поля покрыты были глубоким снегом; трудно было рыться под ним, еще труднее отыскивать заметки, положенные в разных урочищах над закопанными кладами. Но должно было покориться необходимости: русской зимы не пересиличишь - это уже не раз было доказано, особливо чужеземным врагам народа русского. Так и майор принужден был отложить до весны свои подземные исследования и на этот раз был богат только надеждою. Однако ж он не вовсе оставался без дела: рукопись была написана нечеткою старинною рукою и под титлами, т. е. с надстрочными сокращениями слов, майор учен был русской грамоте, как говорится, на медные деньги, и можно смело сказать, что никакому археологу не было столько труда от чтения и пояснения древних рукописей геркуланских,

сколько нашему Максиму Кирилловичу от разбирания любопытной его находки. Наконец он принял отчаянные меры: заперся в своей комнате и самым четким по возможности своим почерком начал переписывать тетрадку, надеясь, что сим способом он добьется в ней до настоящего смысла. Псовая охота не приходила уже ему и в голову, борзые и гончие выли со скуки под окнами, а псаря от безделья почти не выходили из шинка. Так проходили целые недели, и не мудрено: с невычки к чистописанию, майор писал очень медленно; при том же часто, пропустя или переинача какое-либо слово или не разобрав его в подлиннике, он не доискивался толку в своем списке и с досады раздирал по нескольку страниц; должно было приниматься снова за старое, и от того-то дело его подвигалось вперед черепашьим шагом. Надобно сказать, что вместо отдыха от письменных своих подвигов он, из благодарности к сундуку, прибил к нему своими руками новые петли и пробой, уложил по-прежнему вынутые из него бумаги, запер его крепким замком и едва не надсадился, подкачивая его под свою кро-

вать. Домашние майоровы согласно думали, что он пишет свою духовную. Особенно Ганнусю это крайне печалило: бедная девушка воображала, что отец ее, предчувствуя близкую свою кончину, желал устроить будущее состояние детей своих и делал нужные для того распоряжения. Быв скромна и почтительна, она не смела явно спросить о том у отца, а пробраться тайком в его комнату не было возможности: майор почти беспрестанно сидел там, а когда выходил, то запирали дверь на замок и уносил ключ с собою. Соседи Майоровы почти совсем перестали посещать его и поделом! он не выезжал уже до рассвета с своими псами и псарями на охоту; к тому же, сидя на запорти в своей комнате, не мог по-прежнему беседовать с гостями и потчевать их пуншем с персиковою водкою, а добрые соседи не хотели даром терять пороши или выслушивать рассказы о Майоровых походах на свежую голову. Были люди, которые не только его не покинули, но еще стали навещать чаще прежнего: это его заимодавцы, купцы из города, у которых он забирал в долг товары, и честные евреи, поставщики

всякой всячины. Эти люди ничем не скучают, когда дело идет о получении денег, и за каждый рубль готовы отмерять до сотни тысяч шагов полным счетом.

Однако ж у майора был один - не скажу истинный друг, а прямо добрый приятель. Истинный друг, по словам одного мудреца, есть такое существо, которого воля сливается с вашею волею и у которого нет других желаний, кроме ваших; а майор Максим Кириллович Нешпета и старый войсковый писарь Спирид Гордиевич Прямченко никогда не хотели одного, не соглашались почти в двух словах и поминутно спорили дозарезу. Несмотря на то, когда майору случалась нужда в деньгах или в чем другом, - а эти случаи очень были нередки, войсковый писарь никогда ему не отказывал, если только у самого было что-либо за душою; он же сочинял все бумаги по судным майоровым делам, прибавляя к тому полезные советы - и на одном только этом пункте у них не было споров, ибо майор, будучи сам не великий делец, слепо доверял войсковому писарю, тем больше что никогда не был обманут в своей доверии. Однако же в

теперешнем случае майор не смел или не хотел ввериться войсковому писарю, которого называл вольнодумцем за то, что сей, учившись когда-то в киевской академии, не верил киевским ведьмам, мертвецам икладам и часто смеивался над предрассудками и суевериями простодушных земляков своих. Майор, который, по его словам, почти сам видел, как однажды ведьма бросалась и фыркала кошкою на одного гусара, его сослуживца, часто с криком и досадою опровергал доказательства своего соседа и предрекал ему, что будет худо; но это худо не приходило к войсковому писарю, хотя они спорили об этих важных предметах лет двадцать почти при каждом свидании.

Отсторонив от себя этого советчика, майор обратился к другому. Это был его однополчанин, отставной гусарский капрал Федор Покутич, которого майор принял в свой дом, давал ему, как называл, паек от своего стола и очень достаточную порцию водки, покоил его и во всяком случае стоял за него горюю. Из благодарности старый капрал присматривал в летнее время за садом и пчельником май-

оровым, а в осеннее и зимнее - за исправностью псарей и охотничьей сбруи. Сверх того он лечил майоровых лошадей и собак, почитал себя большим знатоком во всех этих делах и весьма нужным лицом в домашнем быту своего патрона. Старый капрал (такое название давали ему все от мала до велика) был по рождению серб и чуть ли еще не в семилетнюю войну вступил в русскую службу. Высокий рост, широкие плечи и грудь, смуглое лицо с крупными, резко обозначенными чертами, рубец на безволосом teme, другой на правой щеке, а третий за левым ухом, простреленная нога, длинные, седые усы, густой, отрывистый бас его голоса, богатырские хватки и три медали на груди - внушали к нему почтение не только в крестьян майорских и в других поселян, но даже и в соседних мелкопоместных панков. Он ходил всегда в форменной солдатской шинели, на которую нашиты были его медали, закручивал в завитки уцелевшие на висках два пасма волос, а седины своего затылка туго-натуго обвивал черною лентою, крайне порыжевшею от долголетнего употребления. Осенью и зимою, ко-

гда майор почему-либо рано возвращался с охоты и когда не было у него гостей, призывал он старого капрала, вспоминал с ним про давние свои походы и молодечество или заставлял его рассказывать всякие были и небылицы; а на это капрал был и мастер и охотник. Между тем как майор отдыхал на лежанке, старый его сослуживец, растирая табак в глиняном горшке и по часту прихлебывая из сулеи вечернюю свою порцию, пересказывал ему в сотый раз казарменные прибаутки, сказки и страшные были, со всеми прикрасами сербско-малороссийского своего красноречия. К суевериям и предрассудкам своей родины, залегшим смолоду в его памяти, прибавил он порядочный запас поверий и небылиц, выдаваемых за правду в Малороссии и Украине по сему можно судить, как занимательна была его беседа для любителей чудесного; а добрый наш майор был из числа самых жарких любителей всего такого.

Разумеется, что в этом запасе старого капрала сказки о кладах занимали не последнее место. Мудрено ли, что майор, зная обширные его сведения и предполагая в нем, на ве-

ру его же слов, большую опытность по сей части, решился с ним советоваться насчет будущих своих поисков? Чтоб не откладывая вдалеке исполнения этой благой мысли, тотчас послал он одного из хлопцев отыскивать капрала, который, дивясь и жалея, что старый его командир сбился с ступи - так называл он замеченную им перемену в привычках майоровых, скучал и наедине потягивал свою порцию.

Приказ командирский был для него законом. Старый капрал пригладил усы, закрутил виски, осмотрелся, все ли на нем исправно и пошел, соблюдая приличную вытяжку и стараясь как можно меньше прихрамывать раненою ногою. Войдя в дверь, он выпрямился, нанес правую руку на лоб и твердым голосом проговорил:

- Здравия желаю, ваше высокоблагородие!

- Здравствуй, капрал! каково поживаешь?

Я давно не видал тебя.

- Гм, ваше высокоблагородие! не моя вина; я всегда готов на смотр по первому приказу.

- Верю и знаю; да мне было не до того... Садись, старый служивый, да поговорим...

- Не о старине ли?.. Я думаю, ваше высокоблагородие совсем о ней забыли.

- Нет; старину свою отложим мы до будущей зимы, когда у нас от сердца отляжет. Теперь потолкуем о деле.

- Извольте, ваше высокоблагородие!

И капрал, который, между прочими делами по дому, произвольно взял на себя обязанность каждый день докладывать майору о сельских работах и вообще о хозяйстве, пустился вычислять все, что сделано было в доме, на винокурне и в мельнице, с тех пор как майор вовсе перестал заниматься домовыми своими делами. Это вычисление не скоро бы кончилось, если б майор не перебил его.

- Все это очень хорошо, да все не то, - вскрикнул нетерпеливый майор. - Помнишь ли, ты не раз мне рассказывал о кладах? Без дальнего внимания, при таких рассказах я или дремал, или слушал вполуха. Одно только у меня осталось на памяти: что над кладами, из любви к сокровищам, всегда сторожит недобрый в том виде, в каком человек, зарывший клад, положил на него зарок являться.

- Да: и собакой, и кошкой, и курицей, толь-

ко не петухом. Иногда сидит он диким зверем: медведем, волком, обезьяною с огненными глазами и крысьим хвостом; иногда чудовищем. Змеем Горыничем о семи головах; иногда даже и человеком, не в нашу меру будь сказано.

- У меня есть на примете кое-какие кладушки, и можно бы за ними порыться... Об этом расскажу тебе после. А теперь хотел бы снова услышать повнимательнее о прежде найденных кладках, чтобы в пору и во время применить к тому, как добрые люди поступали в таких случаях.

- А вот видите ли, ваше высокоблагородие! (таков был обыкновенный приступ всех рассказов старого капрала). Я не служил еще в том полку, в котором находился под командою вашего высокоблагородия; шли мы в глубокую осень из дальнего похода, и нашему полку расписаны были зимние квартиры в К...ском повете. Наш эскадрон поставлен был в одном селении, а в том числе мне отведена была квартира у одной доброй старушки. Хата ее чуть не вертелась на курьих ножках: низка, ветха и стены только что не валились;

толкни в угол коленом - она бы и вдосталь рассыпалась; а дом как полная чаша, и в золотой казне, по приметам, у старой не было недостатка. Мне было у нее не житье, а масленица; чего хочешь, того просишь: пить, есть, всего по горло. Ну, словом сказать, она надеяла и покоила меня, как родного сына, и часто даже называла меня сынку. Дивились и я и мои товарищи такой доброте старушкиной; дивились и тому, что у нее, под эту ветхую кровлею, такое во всем благословение божие. Стали наведываться о ней у соседей, и те нам сказывали, что у хозяйки моей был один сын, как порох в глазу, и того, по бедности, сельский атаман отдал в рекруты, что с тех пор не было о нем ни слуху, ни духу и что старушка, расставшись с ним, долго и неутешно плакала. Не было у ней опоры и помощи, некому было обрабатывать поля и смотреть за домом; скудость ее одолела, она пошла по миру и многие годы бродила из селения в селение, по ярмаркам и богомольям, питаюсь мирским подаянием; как за три года до нашего квартированья вдруг разбогатела. Откуда что взялось: и теплая опрятная одежда вместо ни-

щенского рублища, и лакомый кусок вместо черствых крох милостынных. Домишка хотя она и не перестраивала, да о том и не горевала: добрые соседи, за ее хлеб-соль и ласку, а пуще за чистые деньги, возили ей на зиму столько дров, что и порядочную винокурню можно бы без оглядки отапливать круглый год. Со всем тем, она никого не принимала на житье и даже по крайней только нужде впускала к себе в дом любопытных соседей; когда же уходила из дому, то двумя большими замками запирала двери. В селении пошли о ней разные толки, и еще в нашу бытность соседи старуш-кины натрое толковали о скорой ее разживе: одни думали, что она, во время своего нищенства, искусилась лестью врага нечистого и сделалась ведьмою; другие, что она спозналась с подорожною челядью и в ночную пору давала у себя притон разбойникам, за что будто бы они ее наделяли; третьи же, люди рассудчивые, видя, что она по-прежнему богомольна и прибежна к церкви божией и что у нее никогда не видали ни души посторонней и не слышали по ночам ни шума, ни шороха, - говорили, что она нашла клад; а как

и где - никто о том не знал, не ведал.

Признаться, у меня не полегчало на душе от всех таких рассказов. Если хозяйка моя колдунья, думал я, то жить под одной кровлей с ведьмою вовсе мне не по нутру. В какую силу она меня прикармливает да привечает? Почему знать, может быть, ей нужна моя кровь или жир, чтоб летать из трубы на шабаш. Вот я и стал за нею подмечать: ночи, бывало, не сплю, все слушаю, а не заметил за нею никакого бесовского художества. Старушка моя спит, не шелохнется, а если, бывало, и пробудится, то вздохнет и вслух сотворит молитву. Это меня поуспокоило, только не совсем' я стал приглядывать и обыскивать в доме. Надобно вам сказать, что старуха во всем мне верила: уйдет, бывало, и оставит на мои руки свой домишка со всею рухлядью. Вот однажды, когда она уходила надолго, я давай шарить да искать по всей избе. В переднем углу, под липовою лавкою, стоял сундук с платьем и другим скарбом; веря моей совести, старушка ушла, не замкнув его. Я выдвинул его, пересмотрел в нем все до последней нитки; ничего не было в нем такого, над чем бы

можно закусить губы и посомниться. Я уже начал его вдвигать, как вдруг сундук, став на свое место, стукнул обо что-то так громко, что гул пошел по комнате. Я опять его отодвинул; ощупал руками место - там были доски; я разобрал их; под досками врыт был в землю медный котел ведра в два, а в котле, снизу доверху, все серебряные деньги, и крупные, и мелкие, начиная от крестовиков до старинных копеечек. У меня, сказать правду, глаза распрыгались на такое богатство; только, во-первых, от самого детства никогда рука моя не поднималась на чужое добро; а во-вторых, знал ли я, где и кто чеканил все эти круглевики? Может быть - бродило тогда у меня в голове - если я до них дотронусь, то они рассыплются золою у меня в руке. Я убрал все по-прежнему, поставил сундук на свое место и дожидался старухи как ни в чем не бывало.

За ужином я вздумал от нее самой выведать правду, хоть обиняками. Для этого я завел сперва речь о ее сыне; старуха моя заплакалась горькими слезами и призналась, что положила на себя обещание всякого военного человека, которого бог заведет к ней, по-

ить, кормить и покоить, как родного сына. "От этого, - прибавила она, - верно, и моему сынку будет лучше на чужой стороне, а если бог послал по его душу, легче в сырой земле. Сам ты видишь, служивый, твердо ли я держу свое обещание". Такие старухины речи и меня чуть не до слез разжалобили; я почти уже каялся в своих подозрениях, однако ж все хотел допытаться, отчего она разбогатела. "Мне сказывали, бабушка, ты прежде была в нужде и горе, - молвил я, - расскажи мне, как тебя бог наделил своею милостию?" Старуха смутилась и призадумалась от моего вопроса, однако ж ненадолго; помолчав минуты с две, рассказала она мне все дело таким порядком:

- Жила я, сынку, как ты уже слышал, в горе и бедности, бродила по миру и питалась подаванием. Хлеб милостынный не горек, но труден; ноги у меня были изъязвлены и почти не служили от многой ходьбы и усталости. Однажды я сделалась нездорова и осталась дома; запаса было у меня дни на три, так я и не боялась, что умру с голоду. Тогда была поздняя осень; в долгий вечер, зажегши лучину, сидела я и чинила ветхое свое лохмотье. Вдруг от-

куда ни возьмись белая курица с светлыми глазами, ходит у меня по полу и поклохтывает. Я удивилась; у меня не было в заводе ни кур, ни другой какой живности; соседние тоже не могли забрести: им нечем было бы у меня поживиться. Курица обошла трижды кругом по хате и мигом пропала из виду. Мне стало жутко; я перекрестилась, сотворила молитву и думала, что мне так померещилось. Когда же легла спать, мне приснился старичок, низенький, дряхлый и седенький, с длинною, белою бородою и в белой свите. Он мне сказал: "Раба божия! тебе дается счастье в руки, умей его захватить". И с этими словами как не бывал; только легкое облачко, вьючись, понеслось кверху. На другой вечер, и в ту же пору, опять курица трижды прошлась кругом по хате и проклохтала, и также исчезла; я заметила только, что она ушла в передний угол. Ночью тот же старичок явился мне снова и сказал мне: "Раба божия! эй, не упusti своего счастья; будешь на себя плакаться, да поздно. Еще однажды только ему суждено тебе явиться". Я осмелилась и спросила его: "Скажи, мой отец, как же мне добыть это сча-

стве?" - "Возьми палку,- отвечал старик,- и когда оно покажется тебе снова, то помни: на третьем его обходе вокруг хаты ударь по нему, да меть по самому гребню; а после живи да поживай, славь бога и делай добро". Проснувшись утром, я нетерпеливо ждала, чтобы день прошел поскорее, а между тем припоминала и твердила слова старика. Вот наступил и вечер; я взяла в руки палку и глаз не отводила от пола; вдруг выбежала моя курица и поскакала по хате; она была крупнее прежнего и клохтала чаще и громче; высокий гребень на ней светился, а глаза горели, как уголья. Положив на себя крестное знамение, чтобы, какова не мера, не поддаться вражьему искушению, я подняла палку и стерегла курицу на третьем обороте; лишь только она поравнялась со мною, я ударила ее изо всей силы вдоль головы, по самому гребню; курицы не стало, а передо мною рассыпались крупные и мелкие серебряные деньги...

- Все это так,- молвил майор, перервав повесть капрала,- да дело у нас идет не о таком кладе, который сам является, а о таком, который надобно отыскивать под землею.

- За мною дело не станет, ваше высокоблагородие; вся сила в том, как положен клад, с заговором или без заговора?

- Почему ж я это знаю? А надобно готовым быть на всякий случай. Так положим, что наш клад заговорили, когда зарывали в землю.

- И тут я могу пригодиться вашему высокоблагородию. Лишь была бы у нас разрыв-трава или папоротниковый цвет.

- Вот то-то и беда, что нет ни того, ни другого. Скажи мне по крайней мере, где водится разрыв-трава и как добывается папоротниковый цвет?

- Разрыв-трава водится на топких болотах, и человеку самому никак не найти ее, потому что к ней нет следа и примет ее не отличишь от всякого другого зелья. Надобно найти гнездо кукушки в дупле, о той поре как она выведет детей, и забить дупло наглухо деревянным клином, после притаиться в засаде и ждать, когда прилетит кукушка. Нашедши детенышей своих взаперти, она пустится на болото, отыщет разрыв-траву и принесет в своем носике; чуть приложит она траву к дуплу,

Клин выскочит вон, как будто вышибен обухом; в это время надобно стрелять в кукушку, иначе она проглотит траву, чтоб люди ее не подняли. Папоротниковый цвет добывать еще труднее; он цветет в одну только пору: летом, под Иванов день, в глухую полночь. Если ваше высокоблагородие не поскучаете, я расскажу вам, что слышал от одного сослуживца, гусара, который сам, с отцом своим и братом, когда-то искал этого цвета в молодости, еще до службы.

- Рассказывай смело; я рад тебя слушать хоть до рассвета.

- Помните ли, ваше высокоблагородие, нашего полку гусара, Ивана Прытченка? Он был лихой детина: высок ростом, статен, силен и смел, - хоть на медведя готов один идти... Смелостью и в могилу пошел. В первую Турецкую войну, помнится, под Браиловым, один басурманский наездник выскочил из крепости, вихрем пронесся по нашему фронту, выстрелил из обоих пистолетов и стал под крепостными стенами; там, беснуясь на своем аргамаке, браня нас и подраживая, он вызывал молодца переведаться. Прытченко стоял под-

ле меня; видно было, что его взорвало басурманово самохвальство: он горячил своего коня и вертелся в седле, как на проволоке. Вдруг, оборотясь ко мне, он вскрикнул: "Благослови, товарищ",- и не успел я дать ответ, уж вижу, наш Прытченко летит стрелою на басурмана, доскакал и давай саблюю крошить неверного. С третьего удара, смотрим - турок как сноп на землю, а удалый наш товарищ, схватя его коня за повод, оборотился назад... и в то же время паф! Турецкие собаки пустили в него ружейный огонь со стены. Добрый конь вынес его из этого адского огня, добежал до фронта, хотел стать на место - и упал. Тогда только мы заприметили, что конь и ездок были изранены. Я соскочил с седла, хотел подать помощь бедному товарищу и вынести его за фронт... Поздно! он уже выбыл из списка! Славный, храбрый был гусар и добрый товарищ: последними крохами, бывало, поделится с своим братом! Упокой, господи, его душу!..

Капрал вздохнул и поднял глаза кверху. Голос его изменился к концу рассказа, и блеск свечи бегло мелькнул на влажных его ресни-

цах. Старый служивый отер глаза, хлебнул глоток своей порции и продолжал:

- Простите, ваше высокоблагородие! Я для того только припомнил об этом случае, чтобы показать вам, что такой молодец не струсил бы от пустяков. Вот что он мне рассказывал однажды в тот же поход, и незадолго перед своею смертью, когда мы, отставши ночью вдвоем от товарищей, тихим шагом ехали с фуражировки. Ночь была свежа и темна, хоть глаз выколи, нам нечем было согреться и отвести душу: походные наши сулеи были высоканы до капельки; притом же нас холодили и нерадостные думы: вот как-нибудь наткнемся на турецкую засаду. Мне не то чтобы страшно, а было жутко; я промолвился об этом Прытченкову. "Товарищ!- отвечал он.- Таковую ночь я помню с молодых своих лет? Чего нам тут бояться? Турецких собак? Бритые их головы и бока их басурманские отзовутся под нашими саблями: а там, где не видишь и не зацепишь неприятеля и где он вьется у тебя над головою, свищет в уши и пугает из-под земли и сверху криками и гарканьем, - вот там-то настоящий страх, и я его изведаль на

своём веку". - "Расскажи мне об этом, товарищ, чтобы скоротать нам дорогу", - молвил я. "Хорошо, - отвечал он, - слушай же. Нас было трое у отца и матери, три сына, как ясные соколы, молодец к молодцу: я был меньший. Отец наш был когда-то человек зажиточный: посылывал десять пар волов с чумаками за солью и за рыбою; хлеба в скирдах и в закромах, вина в амбарах и другого прочего было у него столько, что весь бы наш полк было чем прокормить в круглый год; лошадей целый табун, а овец, бывало, рассыплется у нас на пастбище - видимо-невидимо. Да, знать, за какие тяжкие отцовские или дедовские грехи было на нас божеское пощущение: в один год как метлою все вымело. Крымские татары отбили у нас весь обоз: и волы, и соль, и рыба - все там село; чумаки наши пришли домой с одними батогамы. В летнюю пору, когда все мы ночевали в поле на сенокосе, вдруг набежали гайдамаки на наше село, заграбили у отца моего все деньги и домашнюю рухлядь и увели всех лошадей; в ту же осень и дом наш, со всем добром, с житницами и хлебом в овинах и скирдах, сторел дотла, так что мы оста-

лись только в том, в чем успели выскочить. На беду еще случился скотский падеж, и из всего нашего рогатого скота не осталось и десятой доли. Горевал мой отец на старости, сделавшись вдруг из самого богатого обывателя чуть не нищим; кое-как, сбыв за бесценок остальной свой скот и большую часть поля, построил он домишке и в нем, что называется, бился как рыба об лед. На свете таково: кто раз приучился к приволью и роскоши, тому трудно в целый век от них отвыкнуть; мой отец беспрестанно вспоминал о прошлом своем житье, тосковал и жаловался, даже говаривал, что за один день такого житья отдал бы остального своего полвека. Часто отец Герасим, приходский наш священник, который один из целой деревни не оставил нас при бедности, прихаживал к моему отцу, уговаривал его не печалиться и толковал ему, что богатство - прах. Тут обыкновенно он рассказывал нам об одном святом человеке, который, как и мой отец, лишился всего своего несметного богатства; и, мало того, похоронил всех детей и сам был болен какою-то тяжкою немощью; но при всякой новой беде не роп-

тал и еще благословлял имя божие. Отец слушал все это, и у него от сердца етлегало; когда же, бывало, священник долго не придет, то отец мой снова разгорюется и опять за прежнюю: все ему и спалось и виделось пожить так, как до черного своего года.

Вот прошел у нас в околотке слух об одном славном знахаре, который жил от нас верст за шестьдесят, одинок, в глуши, среди темного леса. Рассказывали, что он заговаривал змей, огонь и воду, лечил от всякой порчи, от укушения бешеных собак и даже прогонял нечистого духа; ну, словом, каждую людскую беду как рукой снимал. Отец мой тихонько подговорил меня, и, не сказавшись никому, мы отправились вдвоем к знахарю, потому что отец боялся идти к нему один. Долго ли, коротко ли шли мы, не стану рассказывать; скажу только, что под конец отыскали в лесу узкую тропинку между чащею и валежником, пустились по ней и пришли к высокому плетневому забору, которым обнесена была хата знахаря. Мы постучались у ворот; вдруг раздался лай, и вой, и рев; спустя мало страшный старик отпер нам ворота. Он был высоко-

го роста, широкоплеч, с большою головою, с виду бодр, хотя и очень стар; длинные, густые волосы с проседью сбились у него войлоком на голове и в бороде; сквозь распахнутую рубашку видна была косматая грудь; в руках у него была толстая суковатая дубина. Взгляд у него был суров и дик; под широкими, навислыми бровями бегали и сверкали большие черные глаза. Они пятились изо лба, как у вола, и страшно было видеть, как он ворочал белками, по которым вдоль и впоперек бороздили кровавые жилы. "Что надобно?" - отрывисто проворчал он сиповатым голосом, и лай, и вой, и рев раздались сильнее прежнего. Я вздрогнул и обозрелся кругом: смотрю, по одну сторону ворот прикована пребольшая черная собака, а по другую - черный медведь, такой ужасный, каких я сроду не видел. Старик грозно на них прикрикнул, и медведь, глухо мурча, попятился в берлогу, а собака, с визгом поджавши хвост, поползла в свою конуру. Отец мой, немного оправясь от страха, поклонился старику и сказал, что хочет поговорить с ним о деле. "Так пойдем в хату!" - пробормотал знахарь сквозь зубы и

пошел вперед. Мы вошли в хату; отец мой, помолясь богу, поставил на стол, покрытый скатертью, хлеб и соль, старик тотчас взял нож, прошептал, кажется, молитву и нарезал на верхней коре хлеба большой крест. "Садитесь!" - сказал нам старик и сам сел в углу, на верхнее место, а мы в конце стола; перед колдуном лежала большая черная книга: видно было, что она очень ветха, хотя все листы в ней были целы и нисколько не истерты. Старик развернул книгу и смотрел в нее. В это время мой отец начал ему рассказывать свою беду, старик не дал ему докончить. "На что лишние слова? - проворчал он отрывисто. - Эта книга мне лучше рассказала все дело; ты был богат, обеднел и хочешь снова разбогатеть. Сказать тебе; "Трудись",- ты молвишь в ответ, что века твоего не станет. Ну так ищи папоротникова цвета".- "Что же мне прибудет, дедушка, если я отыщу папоротниковый цвет?" - "Носи его в ладонке, на груди: тогда все клады и все подземные богатства на том месте, где будешь стоять или ходить, будут перед тобой как на ладони; а захочешь их взять, приложи только папоротниковый

цвет - сами дадутся. Все пойдет тебе в руку, и будешь богаче прежнего". "Научи же меня, дедушка, как добывать папоротниковый цвет?" - "Некогда мне с тобою толковать: в этот миг дошла до меня весть, что ко мне едут гости, богатый купец с женою. Их испортили: муж воет волком, а жена кричит кукушкой, и им никак не должно с вами здесь встретиться. Ступайте отсюда и по дороге зайдите в Трирецкий хутор: там у первого встречного спросите о бесноватой девушке, ее всякий знает. Она вас научит что делать; а я теперь же пошлю к нему приказ". Сказав это, он взял лоскуток бумаги, написал на нем что-то острым концом ножа и положил на открытое окно. День был тихий и красный, солнце пекло, и ни листок не шелохнулся; но только старик пошевелил губами - вдруг набежало облачко, закрутился вихорь, завыл, засвистал и сыпал искры, подхватил бумажку и умчал ее невесть куда. И мигом облачка как не бывало, на дворе стало ясно и тихо по-прежнему, ни листок на дереве не шелохнулся, только меня с отцом дрожь колотила, как в лихорадке. Поскорее положила полтинник на стол колдуну и

отдав ему по поклону, мы без оглядки вон из дверей и за ворота: медведь заревел и собака завyla; а мы, не помня себя, бегом пустились по старому следу и не прежде остановились, как выбравшись из лесу, в котором жил страшный старик. Напугавшись тем, что видели у колдуна, мы и не думали заходить в хутор: нас и без того мороз по коже драл от бесовщины, и рады-рады мы были, когда по добру-поздорову добрались до дому. Однако же дня через три отец сказал мне: "Иван! умный человек ничего не делает вполнину: у нас стало духу на одно, попытаемся ж и на другое; ходили мы к колдуну, пойдем же и к бесноватой. Ты самый смелый из моих сыновей; ну-ка, благословясь, пустимся опять в дорогу". Стыдно и совестно мне было отказаться, хотя правду сказать, и не было охоты идти на новую попытку. Мы пришли в хутор, где нам тотчас указали дом бесноватой. Входим. На широкой лавке лежит девушка лет двадцати, худая, бледная как смерть; около ее сидят родные и три или четыре старухи посторонних; она, казалось, спала или дремала от сильного утомления. Нам сказали, что она

уже три дня нас ждала, тосковала, металась, как будто бы пришел ее последний час; теперь же немного поуспокоилась: видно, злой дух на время ее оставил. Вдруг она встрепенулась, вскочила и с криком и бранью бросилась на моего отца. Глаза ее страшно крутились и сверкали, губы посинели и дрожали, и в судорожном ее коверканье заметно было крайнее бешенство. Если б я не успел схватить ее за руки и несколько человек из семьи не подоспело ко мне на подмогу, то, верно бы, она задушила отца моего, как цыпленка. Заскрежетав зубами, она кричала ему не своим голосом: "Гнусный червь! ты довел меня до муки: по твоей милости, я не мог до сих пор выполнить данного мне приказания, и оттого трое суток палило меня огнем нестерпимым. Слушай же скорее и убирайся, пока я не свернул тебе шею: под Иванов день, около полуночи, ступай сам-третий в лес, в самую глушь. Чтоб вы ни видели, ни слышали - будьте как без глаз и без ушей: бегите бегом вперед, не оглядывайтесь назад, не слушайте ничего и не откликайтесь на зов. Вас станут манить - не смотрите; вам станут грозить - не

робейте: все вперед, да вперед, пока не увидите, что в глуши светится; тогда один из вас должен бежать прямо на это светлое, рвануть изо всей силы и крепко зажать его в руке. После все вы трое должны бежать назад, так же не останавливаясь, не оглядываясь и не откликаясь. Теперь вон отсюда: желаю вам всем троим сломить там головы!" Девушка упала без чувств на пол, а мы, не дожидаясь другого грозного привета, дали, что могли, ее родителям и поскорее отправились домой. Все это было на зеленой неделе; до Иванова дня срок оставался короткий; отец мой часто призадумывался; меня также как змея сосала за сердце: страшно было и подумать! Вот настал и Купалов день Отец мой постился с самого утра, у меня тоже каждый кусок останавливался в горле, как камень. К вечеру отец сказал домашним, что пойдет ночевать в поле и стеречь лошадей, которые выгнаны были на пастбище; взял меня, старшего моего брата, и, когда смерклось, мы втроем отправились. Вышед за селение, мы залегли под плетнем и ждали полуночи. День перед тем был жаркий, и даже вечером было душно, однако ж

меня мороз подирал по коже. Здесь только, и то потихоньку, почти что шепотом, отец мой рассказал брату, куда и за чем мы шли. Ему, кажется, стало не легче моего от этого рассказа: он поминутно приподнимал голову, оглядывался и прислушивался. В это время на поляне за селением вдруг запылали костры; к нам доносились напевы купаловых песен, и видно было, как черные тени мелькали над кострами: то были молодые парни и девушки, которые праздновали Купалов вечер и прыгали через огонь. Эти протяжные и заунывные напевы отзывались каким-то жалобным завываньем у нас в ушах и холодили мне душу, как будто бы они веще-вали нам что-то недоброе. Вот напевы стихли, костры погасли, и скоро в селении не слышно стало никакого шума. "Теперь пора!" - вскрикнул мой отец, вскочил - и мы за ним. Мы пошли к лесу. Ночь становилась темнее и темнее; казалось, черные тучи налегли по всему околотку и как будто бы густой пар туманил нам глаза и отсекал у нас дорогу. И вот мы добрались, почти ощупью, до опушки леса, кое-как отыскивали глухую тропинку и пустились по

ней. Только что мы вступили в лес - вдруг поднялись и крик, и вой, и рев, и свисты: то будто гром прокатывался по лесу, то рассыпной грохот раздавался из конца в конец, то слышался детский крик и плач, то глухие, отрывистые стоны, словно человека перед смертным часом, то протяжный, зычный визг, словно тысячи пил бегали и резали лес на пильной мельнице. Чем далее шли мы по лесу, тем слышнее становились все эти крики, и стоны, и визг, и свисты; мало-помалу смешались они в нескладный шум, который поминутно становился громче и громче, слился в один гул, и гул этот, нарастая, перешел в непрерывный, резкий рев, от которого было больно ушам и кружилась голова. В глазах у нас то мелькали светлые полосы, то как будто с неба сыпались звездочки, то вдруг яркая искра светилась вдали, неслась к нам ближе и ближе, росла больше и больше, бросали лучи в разные стороны и, наконец, почти перед нами, разлеталась как дым. У нас от страха занимало дух, по всему телу пробегали мурашки; мы щурили глаза, зажимали уши... Все напрасно! Гул или рев, становясь

все сильнее и сильнее, вдруг зарокотал у нас в слухе с таким треском, как будто бы тысячи громов, тысячи пушек и тысячи тысяч барабанов и труб приударили вместе... Земля под нами ходенем заходила, деревья зашатались и чуть не попадали вверх кореньями... Признаюсь, мы не выдержали, страх перемог: схватясь за руки, мы повернули назад, и давай бог ноги из лесу! Над нами все ревело и трещало, и когда мы выбежали на поле, то за нами по всему лесу раздался такой страшный хохот, что даже и теперь у меня становятся от него волосы дыбом. Мы попадали на землю. Что дальше с нами было - не помню и не знаю; когда же я очнулся, то увидел, что утренняя заря уже занималась; отец и брат лежали подле меня, в поле, близ опушки леса. Я перекрестился и встал; подхожу к отцу, зову его - нет ответа; беру за руки - они окостенели; за голову - она холодна и тяжела как свинец. Я взвыл и бросился к брату, начал его поворачивать и бить по ладоням; насилу он опомнился, взглянул на меня мутными глазами и, как будто не проспавшись от хмеля, молчал и сидел на одном месте не двигаясь.

Трудно мне было растолковать ему, что бог послал по душу нашего отца и что нам должно перенести его в селение, если не хотим оставить его тело в добычу волкам...>

- Так они не отыскиали папоротникова цветку? - подхватил нетерпеливый майор, перебив рассказ словоохотного капрала.

- Нет, ваше высокоблагородие; Прытченко мне рассказывал, что с тех пор ему и в ум не приходило искать кладов, особенно после того, как отец Герасим, на похоронах отца его, говорил мирянам поучение, в котором доказывал, что старый Прытченко сам наискался на смерть, послушавшись козней лукавого; и что бог всегда попускает наказания на людей, которые добиваются того, что им не суждено от его святой воли. Скоро молодого Прытченка взяли в солдаты, и каждый год, по совету отца Герасима, он ходил в Иванов день к обедне, молился усердно за упокой души своего отца и постился целые сутки за старые свои грехи.

- Поэтому, капрал, нечего и думать о папоротниковом цветке, - сказал майор, - мне жизнь еще не совсем надоела и нет охоты на-

биваться на беду или копить грехи под старость.

- Точно так, ваше высокоблагородие! Злой дух иногда подольстится к нам, как лукавый переметчик: сулит невесть что, и победу и добычу, а послушайся его - глядишь, и наведет на скрытую засаду; тут и попал, как кур во щи! Между этими двумя врагами только и разницы, что лживый переметчик погубит одно наше тело, а проклятый бес с одного хватка подцепит и тело и душу.

- Правда твоя, капрал, правда; так оставим эти затеи. Может быть, наши клады положены без заговора и сами нам дадутся без дальних хлопот. После опять поговорим об этом. Прощай! Утро мудренее вечера.

Капрал допил свою порцию, встал, выпрямился снова, отдал честь по-военному и, проговоря: "Добрая ночь вашему высокоблагородию!", побрел в свою светлицу. Там, утомленный длинными своими рассказами и согретый нескучною порцией, скоро уснул он таким сном, каким поэты усыпляют чистую совесть, хотя, кажется, сей олицетворенной добродетели и должно б было спать очень чутко.

Майор также почувствовал благотворное действие рассказов капраловых: давно уже он не спал так спокойно, как в эту ночь. Не знаю, что виделось капралу: он никогда о том не рассказывал; но майора убаюкивали разные сновидения, и все они предвещали ему что-то хорошее. То в руках у него был золотой цветок, от которого все, на что майор ни взглядывал, превращалось в груды золота; то стоял он у решетчатой двери какого-то подземелья, сквозь которую видны бы-ли несметные сокровища: ему стоило только просунуть руку, чтобы черпать оттуда полными горстями. То снова был он на охоте: псаря его, со стаей борзых и гончих, гнались за белым зайцем; но майор, на лихом коне своем, всех опередил, и псарей, и борзых, и гончих; уже он налегал на зайца, уже гнался за ним по пятам; вот настиг, вот замахнулся арапником, ударил - и заяц рассыпался перед ним разновесными рублевиками. Такие сны целую ночь беспрестанно сменялись в воображении майоровом, и когда он проснулся поутру, то был довольнее и веселее обыкновенного, к великой радости доброй Ганнуси.

Зима проходила; майор в это время собирал все возможные сказки о кладах, соображал, сличал их и составлял будущих своих действий против сатаны и его когорты; исчислял в уме богатые свои добычи, покупал поместье за поместьем и распоряжал доходами. Ганнусю выдавал он то за какого-нибудь миллионщика, то за пышного вельможу; сыновей выводил в чины и в знать, женил на княжнах и графинях и таким образом родился с самыми знатными домами в русском царстве. Эти воздушные замки, за неимением лучшего дела, по крайней мере, занимали доброго майора, отвлекали его думы от грустной существенности и веселили его в чаянии будущих благ.

Наступил март месяц, снег от самой масляницы начинал уже таять, а на последних неделях великого поста полились с гор и высоких мест быстрые потоки мутной воды, увлекавшие с собою чернозем, глину и песок. Речки и ручьи порывисто понеслись в берегах своих от прибылой воды; мосты и плотины во многих местах были уже снесены или размыты. Деревушка или, правильнее ска-

зять, хутор майоров стоял при реке, на которой устроена была мельница, приносявшая помещику посильный доход. Плотина сей мельницы покамест на этот раз уцелела, более по счастью или от того, что напор воды в реке не был еще во всей своей силе, нежели по собственной прочности; ибо сельский механик, строивший ее, небольшой был мастер своего дела, и редкий год половодье проходило, не размыв части этой плотины, или, как говорится в Малороссии, не сделав прорвы. В вербное воскресенье набожная Ганнуся поехала в отцовской тарадайке* к заутрене в казенное село за пять верст от их хутора: ближе того не было церкви в их околотке. Дорога, ведущая из хутора в селение, лежала через плотину. Чтобы застать начало заутрени, Ганнуся отправилась в путь еще до рассвета; переезжая плотину, она почувствовала некоторый страх: плотина дрожала на зыбком своем основании, как будто бы ее подмывало водою. Дочь майорова решилась, однако ж, ехать далее, поспела к первой благовести, простояла всю заутреню с потупленными в землю глазами и молилась очень усердно. К концу заутре-

ни, когда должно было идти для получения освященной вербы, она заметила, что перед нею шел человек в военном мундире, разводил народ в обе стороны и очищал ей дорогу. Дошед до того места, где стоял священник с вербами, он сам посторонился, поклонился ей и учтиво подал знак идти вперед. Тут только решилась она взглянуть на незнакомца: это был молодой офицер; лицо у него было бледно, но очень приятно и выразительно; большие, голубые глаза его горели огнем молодости и отваги; ростом он был высок и статен, левая рука его покоилась на черном шелковом платке, и от беглого взора молодой девушки не ускользнуло и то, что рукав мундира около сей руки был разрезан и завязан ленточками. Скромно, даже застенчиво поклонясь ему, Ганнуся покраснелась и снова опустила черные свои ресницы к помосту; несколько секунд оставалась она в этом положении; но мысль, что на нее все смотрят, а особенно молодой офицер, вывела ее из забывчивости: она подошла к священнику, приняла благословение и вербу и снова стала на прежнее свое место. Офицер, подойдя вслед за

нею к вербам, отступил потом в ту сторону, где стояла Ганнуся, остановился в некотором от нее расстоянии и часто на нее посматривал. Но девушка не смела более на него взглянуть: она чувствовала, что лицо ее горело, и потому она почти не сводила глаз с своей вербы, ощипывала на ней веточки, которые, видно, казались ей лишними, или молилась еще усерднее прежнего и по временам вздыхала — конечно, не о грехах своих. Заутреня кончилась скоро, слишком скоро для Ганнуси, а может быть, и еще скорее для молодого офицера. При выходе из церкви он снова явился подле дочери майоровой, сводил ее по ступеням паперти и посадил в тарадайку. Лошади тронулись почти в тот же миг; Ганнуся едва успела поклоном отблагодарить услужливого офицера. Проехав немного, она, по какому-то невольному движению, мельком обернулась назад: офицер все стоял на том же месте и смотрел вслед за нею. Весьма естественное и даже простительное самолюбие шепнуло ей, что она приглянулась молодому воину; и почему же не так? Она, как и все девушки ее лет, находила себя по крайней мере не дур-

ною; а складное ее зеркальце, в часы одиноких, безмолвных ее с ним совещаний, часто доказывало ей весьма утвердительно образом, что она красавица, и на этот раз нельзя сказать, чтобы зеркало льстило бессовестно. Ганнусе было осмнадцать лет; при среднем росте, она имела весьма стройный стан: арабийский поэт сравнил бы ее с юною, пустынною пальмой. Правильные черты лица оживлялись в ней тем свежим, здоровым румянцем, который сообщается только чистым воздухом полей, умеренным движением и простым, безмятежным образом жизни, но которого не в силах заменить все затеи моды, все пособия искусства. Черные, большие глаза, в которых тихо светился огонь чувствительности, и черные, лоснящиеся волосы прекрасно оттеняли белизну лица и шеи; а скромность и стыдливость - лучшее ожерелье девиц, по русской пословице - еще более возвышали прелести этой сельской красавицы. Из всех знакомых майора сердце Ганнусино ни за кого еще ей не говорило: теперь оно впервые забилось сильнее обыкновенного. Что, если этот молодой офицер, пригожий и вежливый, недаром

так часто и пристально на нее посматривал? Что, если в нем бог посылает ей суженого? Такие и другие мечты (а кто может перечесть, сколько их промелькнет в голове молодой девушки?) занимали Ганнусю во всю дорогу, до самой плотины отцовского хутора.

Пасмурное утро уже сменило сумрак ночной, когда дочь Майорова подъехала к плотине; воздух был густ и влажен; дымчатые облака застилали лазурь небесную. Человек с десять крестьян стояли на берегу и с малороссийскою беззаботливостью смотрели, как вода подымала плотину, протачивалась сквозь фашинник, отрывала и выносила целые глыбы земли. За плотинной низовье мельницы было почти совсем затоплено водою, которая с шумом и ревом неслась в новых своих берегах, сносила плетни и крутилась подобно водовороту около кустов ивняка, росших по лугу. Мельничные колеса остановились, а плотина дрожала еще сильнее прежнего: видно было, как она поднималась и опускалась.

- Не опасно ли переезжать? - спросил кучер ганнусин у крестьян.

- А бог знает! - был равнодушный их ответ.

Из предосторожности Ганнуса сошла с тарайки и велела кучеру ехать вперед. Сама она хотела идти пешком, рассчитывая, что где повозка с парой лошадей может проехать, там ей самой безопасно будет перейти. Кучер, не дожидаясь вторичного приказа, погнал лошадей и скоро очутился на другом конце плотины.

Перекрестясь, Ганнуса пошла вслед за повозкой, ноги ее подгибались, сердце трепетало; однако ж она вооружилась решимостью и шла далее. Но едва ступила она на самое шаткое место - вдруг плотина под нею затрещала, поднялась вверх и стала почти боком. Ганнуса упала на колена. Громкий вопль крестьян с берега поздно известил ее об опасности. Снова раздался треск, снова вскрикнули крестьяне - и та часть плотины, где находилась тогда бедная девушка, была сорвана и снесена вниз. "Кто в бога верует, спасайте!" закричали крестьяне и побежали вниз по течению, куда водою снесло несчастную Ганнусю. Кучер, ожидавший ее перехода, поскакал в господский дом и по дороге кричал всем встречным, что барышня их утонула и чтобы все шли вы-

таскивать ее из воды. Не прошло десяти минут - уже на правый берег реки, где стоял хутор майоров, стеклась толпа крестьян, жен их и детей. Мужчины с беспокойством бегали взад и вперед по берегу и смотрели в воду, женщины ломали себе руки и с плачем выкрикивали свои жалобы о потере доброй своей барышни; а мягкосердечные дети, видя матерей своих в горе, плакали вслед за ними.

Между тем крестьяне, бежавшие по левому берегу, заметили, что в понятых водою ивовых кустах как будто бы что-то зацепилось; но вода неслась так быстро, так порывисто, что никто из них не отваживался пуститься вплавь. "Лодку, лодку!" - кричали они на другой берег; но рев воды, с напором стремившейся сквозь промоину плотины, заглушал их голос.

- На что лодку? что случилось?- спросил их некто повелительным голосом.

Крестьяне оглянулись и увидели, что подле них остановился человек, верхом на лошади и в офицерском мундире.

- Там в волнах наша барышня, дочь майора...

- Смотрите, смотрите! - вскрикнул один молодой крестьянин.- Вот около ивовых кустов всплыло навверх что-то белое... Это платок, это платок нашей барышни!

- Лодку, лодку! - снова закричали крестьяне; но офицер, не дожидаясь более, вдруг пришпорил своего донского коня, направил его прямо в воду, и послушный, бодрый конь бросился с берега, забил ногами в воде, которая заклокотала и запенилась вокруг него. Крестьяне, пораженные такою неожиданною отвагой, снова вскрикнули; им отвечали таким же криком с другого берега. Долго бился офицер в волнах, долго боролся он с стремлением воды, которая сносила его вниз по течению; наконец сильный конь, покорный поводу и привычный к таким переправам, доплыл до ивовых кустов. Офицер наклонился, опустил правую свою руку в воду, но не нашел ничего; три раза, несмотря на все опасности, объезжал он вокруг кустов, искал в разных местах: но все попытки его были напрасны. Решась на последнее средство, он привязал наскоро повод к своей португее, бросился с коня вниз и исчез под водою. Крестьяне думали, что он

погиб; конь бился, рвался и силился выплыть. В эту минуту майор, бледный как смерть и с отчаянием в лице, явился на берегу, поддерживаемый своими хлопцами. Вдруг увидели, что офицер, хватаясь за ветви ив, всплыл на поверхность; повязка, на которой носил он левую свою руку, поддерживала недвижимое, бездыханное тело Ганнуси. Вот он хватается рукою за повод, тащит к себе коня, силится взлезть на него; но тяжелая ноша тянет его ко дну... Вот он уцепился за гриву, всплыл снова, быстрым движением вскинул ношу свою на седло и сам успел вскочить на него... Вот уже он, поддерживая левою, больною рукою голову Ганнуси у своей груди, правит к тому берегу, где стоит майор; конь, из последних сил, бьется и борется с волнами... Расстояние здесь не так далеко: авось-либо спасутся... Вот доплыл до берега, вот истомленный конь хватается передними копытами за вязкую, глинистую землю, уцепился, скакнул - и все бросились к нему навстречу. Майор упал на колена; женщины, видя посинелое лицо и заостренелые члены своей барышни, которой влажные волосы в беспорядке были размета-

ны по девственным ее грудям, завыли громче прежнего. Но офицер, казалось, ничего не видел и не понимал вокруг себя; он только спросил слабым голосом: "Куда дорога?" - и погнал коня своего к дому майорову, все еще держа перед собою Ганнусю в том самом положении, в каком вынес ее из воды.

От движения во время сего переезда вода хлынула из утопшей; но охладелое тело ее все еще не показывало ни малейших признаков жизни. Сбежавшиеся женщины наполняли весь дом плачем и рыданием; майор стоял, как громом пораженный, сложа руки и устремля неподвижные глаза на дочь свою. Один капрал соблюл присутствие духа: он вывел майора, велел выйти из комнаты всем лишним и, оставя утопшую на руках женщин, дал им наставление, каким образом подавать ей помощь. По совету капрала, с нее сняли мокрое платье и укутали все тело шубами. В то же время старый служивый разослал хлопцев за лекарями и за войсковым писарем. Добрый Спирид Гордеевич, узнав о несчастье своего соседа, тотчас прискакал к нему, утешал его, уговаривал и наконец успел поселить в нем

надежду. Старания двух врачей еще более подкрепили сию надежду: у больной оказывался пульс и замечено было легкое дыхание. Мало-помалу дыхание становилось ощутительнее, пульс начинал биться сильнее, и в теле пробуждалась теплота. Все признаки жизни постепенно оказывались, но лекаря опасались, чтобы больной, от потрясения всех жизненных сил, не приключилась горячка. Наконец Ганнуся открыла глаза, но скоро опять их закрыла, ощущения жизни медленно и еще неясно в ней развивались.

Чрез несколько уже часов она совсем очутилась. Здесь только майор, перейдя от сильной горести к безвременной радости, вспомнил об избавителе своей дочери. Он расспрашивал всех домашних своих об офицере, и одна из женщин сказала ему, что незнакомый господин, отдав их барышню на руки им и капралу, стоял несколько минут молча у изголовья Ганнусина и печально смотрел на неподвижное, посинелое лицо девушки до тех пор, когда капрал выслал всех мужчин из комнаты. Люди, бывшие в это время на дворе, сказывали, что офицер торопливо убежал

из комнат, бросился на своего коня и пустился со двора так скоро, как только мог бежать утомленный конь его: иной бы подумал, прибавили крестьяне, что он боялся за собой погони

Стараниями лекарей Ганнуся чувствовала себя гораздо лучше на другой день поутру, хотя жар и слабость во всем теле еще не вовсе успокоивали окружающих ее. Однако ж отец ее, пришедший в себя от первых движений страха и участливый своею надеждою, казалось, не предвидел более никакой опасности. Он радовался, как ребенок, которого нога соскользнула было в глубокий колодец и который, удачно спасшись от смерти, все еще стоит на срубе колодца и весело смотрит на темную, гладкую поверхность воды. Сидя у постели Ганнусиной вместе с лекарями и добрым своим соседом Спиридом Гордеевичем, майор разговаривал с ними о минувшем несчастье, когда один из хлопцев пришел ему доложить, что в передней дожидался человек, одетый денщиком и приехавший узнать о здоровье барышни. Майор и войсковой писарь тотчас догадались, что это был посланный от ее из-

бавителя. Оба они вышли в переднюю.

- Кто таков твой господин? - спросил нетерпеливый Майор, не дождавшись еще ни слова от посланного.

- Поручик Левчинский, - отвечал сей последний.

- А, знаю, это сын бедной больной вдовы Левчинской, которая живет в маленьком хуторке, в осьми верстах отсюда, не так ли?

- Точно так, ваше высокоблагородие!

- Скажи своему поручику, что я очень, очень благодарю его за спасение моей дочери, которой жизнь для меня дороже моей собственной... Скажи ему это и проси его пожаловать к нам.

- Слушаю, ваше высокоблагородие. Поручик, верно, будет у вас, когда выздоровеет.

- Как, разве он болен?

- Да, со вчерашнего дня, ваше высокоблагородие. Он приехал домой весь мокрый и остепенелый от холода; рана у него на левой руке только что была начала подживать, а теперь снова открылась и разболелась, так что он не может руки приподнять. Всю ночь он не уснул ни на волос: не жаловался и не охал,

а только все бредил в жару. Бедная старушка, матушка его, совсем с ног сбилась. А сегодня утром, только что поручик немножко очнулся, тотчас позвал меня и велел скорее скакать сюда и узнать о здоровье барышни.

- Скажи, что дочери моей легче...

- погоди на минуту, друг мой, - сказал денщику войсковый писарь, перебив речь майорову.- Барину твоему нужна помощь; я сейчас еду туда с лекарем. Ты будешь показывать нам дорогу. - И мигом Спирид Гордеевич велел закладывать свою коляску, а сам, вошед в комнату больной, отозвал в сторону одного из лекарей, взяв предосторожность, чтобы не встревожить Ганнусю, и просил его ехать с ним к благородному, отважному воину, который великодушным своим самопожертвованием подвергнул опасности собственную жизнь. Лекарь охотно согласился оказывать ему все возможные пособия своего искусства.

Они застали Левчинского в сильном жару горячки. Положение молодого человека было гораздо опаснее Ганнусина, и лекарь надеялся только на молодость и крепость сил больного. Мать его, почтенная женщина, старая и

хилая, сидя у постели страдальца, горько плакала и печально покачивала головою. "Он не вынесет этой болезни, - твердила она сквозь слезы, - он умрет, мое сокровище... а за ним и я слягу в могилу!"

Предчувствия старушки, к счастью, не сбылись. Твердое сложение сына ее и деятельные пособия врача переломили болезнь почти в самом ее начале; но выздоровление Левчинского было медленно, особливо рука его долго приводила в сомнение лекаря, который не раз видел себя в печальной необходимости лишить больного сей части тела, столь драгоценной для всякого человека, тем более для молодого воина. Наконец, счастливые следствия здоровой, неиспорченной крови и здесь оказали спасительное свое действие: не скоро, но все-таки рука Левчинского получила прежнее движение, и рана ее совершенно затянулась.

Между тем Ганнуся выздоравливала гораздо скорее. Она уже знала, кто спас ее от неизбежной почти смерти, и с благодарными слезами вспоминала о своем избавителе. Каждый день посылала она наведываться о состо-

янии его здоровья и нетерпеливо ждала совершенного его выздоровления, чтобы во всей полноте чувства высказать ему благодарность, которую питала к нему в своем сердце... Бедная девушка! Она еще сама не смела взглянуть попристальнее в свое сердце, не смела отдать себе отчета в том, что с благодарностью совокуплялось другое чувство, гораздо нежнейшее... Образ ее избавителя был почти неотлучно в ее воображении, наполнял каждую мысль, каждую мечту ее: то видела она его в церкви, с его благородным, осанистым видом, то снова встречала последний взор его, которым он безмолвно прощался с нею по выходе из церкви. Раз по десяти на день принималась она расспрашивать своих женщин о подробностях своего избавления, и с лицом, светлевшим какою-то детскою радостью, с каким-то невинным самолюбием думала: "На это он отважился только для меня... для меня одной! Он не жалел своей жизни, бросился в страшный омут, чтоб избавить меня от смерти или хоть раз еще взглянуть на меня мертвую!" Тут живо представлялась ей та минута, когда Левчинский, по одному

только ее имени, слышанному от крестьян, понесся без всякого размышления в мутные, клокочущие волны; или та, когда он выносил ее на руках своих из гибельной хляби: тогда она видела в нем какое-то существо высшее, которому ни в чем не было препон и которого твердой, решимой воле все уступало, даже самые грозные силы природы. Может быть, невинная, простосердечная дочь майорова не в этих самых выражениях объясняла себе, как Она понимала нравственную силу и подвиг самопожертвования молодого воина; но тем не менее таковы были ее понятия о Левчинском, и мы просим извинения у читателей, что не умели передать сих понятий проще и естественнее. Чтобы сколько-нибудь приблизиться к истине, скажем, что милая девушка чувствовала почти суеверное уважение к своему избавителю.

Во все время болезни Ганнусиной майор был при ней почти беспрестанно; и если порою отлучался часа на два, особливо когда дочери его приметно становилось легче, то в сии отлучки посещал он Левчинского. Тогда, сев на своего доброго коня, Максим Кирилло-

вич летел, по охотничьей своей привычке, самую кратчайшею дорогой, то есть напрямиком через горы и доли, в уединенный хуторок, входил на несколько минут в маленький, скудный домик Левчинского, спрашивал о здоровье поручика, с искренним, прямым чувством высказывал ему в сотый раз свою благодарность - и тотчас снова на коня и скакал в обратный путь, к милой своей Ганнусе. В эти две недели, протекшие до совершенного ее выздоровления, майор почти и не подумал о своих планах обогащения, о поисках закладами и обо всем, что относилось к любимой мечте его.

Между тем весна наступила; посевы зазеленелись, пролески зацвели по лесам, и вешние синички защибетали в сени развивающихся деревьев. По совету врачей, нашедших чистый, свежий весенний воздух полезным для здоровья Ганнуси, она начала прохаживаться в саду; и майор как будто бы только этого и ждал. Мысль о кладках снова в нем пробудилась; он чаще прежнего призывал к себе капрала на тайные совещания; рукопись была снова переписана, сколько можно яснее

и безошибочнее, и майор твердил ее наизусть, как молодой школьник свой урок из грамматики. Недовольный еще обширными сведениями капрала по части кладознания, Максим Кириллович начал прилежно посещать свою мельницу, которой плотина была поправлена механиком-жидом, выдавшим себя за отличного искусника в строении плотин и в разных таких хозяйственных делах, при коих простодушные малороссияне предполагают отчасти сверхъестественные знания. Так, например, знающий мельник, строитель плотин, пасечник, или пчеловодец, и некоторые другие подобные им лица почитаются малороссийским простолюдием за знахарей или колдунов.

Мельница в малороссийской деревушке есть род сельского клуба порядочных людей; ибо местом сборища для молодежи бывают вечерницы¹⁶, а для гуляк всякого возраста шинок. Кроме тех, которые приезжают с мешками зерна для помола муки, сходятся в мельничный амбар все пожилые поселяне, которым дома нечего делать или которые улучили досужное время; а такого времени, благо-

даря закоренелой склонности к лени, у добрых малороссиян всегда найдется довольно, особливо в промежутках от посева до собирания хлеба или когда пора полевых работ еще не наступила. В этом сельском клубе толкуют они обо всем: о домашних делах своих, о новостях, которые удалось им слышать, о деревенских или семейных приключениях, о злых панах и судовых, о ведьмах, мертвецах, кладах и тому подобных диковинках, разнообразящих простой, не богатый происшествиями сельский быт сих добрых людей. Сметливый мельник старается сам заводить такие сходбища и, подобно трактирщику какого-нибудь немецкого местечка, бывает обыкновенно первым рассказчиком и балагуром. Это делает он и для того, чтобы приманить на свою мельницу большее число помольников, и для того, что на мельнице обыкновенно происходят все крестьянские сделки: продажа друг другу скота или иной какой-либо из статей сельского хозяйства, наем земли, работников и т. п.; а все сии сделки непременно кончаются магарычом, который запивать приглашается и сам мельник. Надобно ска-

зять, что жид Ицка Хопылевич Немеровский, которому посчастливилось укрепить плотину мельницы майоровой, сделал сей опыт глубоких своих познаний в механике, или (скажу в угоду добрых моих земляков, малороссиян) - опыт своего искусства в тайной науке чародейства, - не даром, а на весьма выгодных для него условиях. Он знал, что хорошею денежною платою от майора поживиться ему было нельзя, потому что сам Максим Кириллович давно уже не видал у себя лишней копейки; для сего честный еврей, с обыкновенными жидовскими уловками и оговорками, сделал следующее предложение: вместо денег получать от майора - безделицу, как говорил Ицка Хопылевич - третью мерку хлеба, получаемого за помол, и это в продолжение двух лет; да безденежное позволение содержать шинок на майоровой земле и подле самой мельницы, тоже на два года с тем, что Ицка нигде, кроме майоровой винокурни, не будет покупать вина, а Максим Кириллович будет ему делать на каждом ведре вина тоже незначительную, по еврейскому смыслу, уступку. Предложение сие заключено было сильными

клятвенными уверениями, что он, Ицка Хопылевич Немеровский, поднял при починке плотины такие тяжкие труды, каких и предки его, библейской памяти, не поднимали на земляной работе египетской, и что теперь плотину, по прочности укрепления и по заговору²⁰, который положил на нее этот честный еврей, не размыло бы и новым всемирным потопом. Добрый майор, человек самого стоворчивого и неподозрительного нрава, притом же небольшой знаток в делах, требующих соображений и расчет-дивости, согласился на все, что предлагал ему честный еврей Ицка Хопылевич Немеровский.

Разумеется, что жид как участник в мельничном походе и ближний сосед мельницы почти безвыходно бывал там; в шинке же была у него правая рука: жена его Лейка, молодая, проворная и лукавая жидовка, которая с сладкими своими речами, с вкрадчивыми взглядами и усмешкой и с низкими, вежливыми поклонами весьма ловко обмеривала добрых поселян и приписывала на них лишние деньги. Сидя в мельничном амбаре на груде мешков и заложа руки в карманы чер-

ного, долгополого своего платья, запыленного мукою, жид Ицка Хопылевич рассказывал собиравшимся в мельницу обывателям всякие чудеса, виденные или слышанные им по свету; учил их лечить рогатый скот такими лекарствами, о которых знал, что от них не может быть ни худа, ни добра, уверял, что умеет заговаривать змей, отшеп-тывать от укушения бешеной собаки и добывать клады... Мудрено ли, что все это дошло до чуткого уха майорова? Капрал, по старой своей привычке, заглядывал иногда в мельницу и, там однажды подслушав сии речи жида, пересказал их майору. Вот причина, по которой Максим Кириллович стал учащать своими прогулками на мельницу, где, под видом хозяйственного присмотра, часто он просиживал по целым часам и разными окольными путями старался выведать у жида тайну добывания кладов. Но догадливый Ицка, вероятно, смекнув делом, основал свои расчеты на слабости помещика, о которой, станется, и прежде уже знал он; посему и говорил о любимом коньке майоровом с возможною осторожностью и давал заметить, что тайна его не дается да-

ром.

Майор, которого природная нетерпеливость еще более к старости усилилась охотничьими его привычками, досадовал на упорное молчание жида; но видел, что увертливому Ицку нельзя было довести до открытия своей тайны никакими затейливыми околичностями. Посему Максим Кириллович решился наконец пойти прямою дорогой; но прямая дорога к сердцу жида - есть деньги, а их-то и не было у нашего майора. Что делать? за неимением денег, он пустился на обещания, даже доходил до того, что предлагал Ицке Хопылевичу третью долю из всех добытых кладов. Но жид, с которым он имел дело, был прямой жид; любимые его поговорки были: из обещаний не шубу шить, и не сули журавля в небе, а дай синицу в руки. Эти пословицы тверже всего он знал и даже лучше всего выговаривал на польско-малороссийском своем наречии. К ним вдобавок он очень благо- разумно представлял майору, что третья доля сама по себе, а не худо иметь что-либо вперед; тем больше-де, что клады доставить - не плотину строить: что при таком деле и вдосталь

измучишься в борьбе с лукавым, который силится отстоять свое сокровище, - и за то-де ему надобно поступиться кое-чем. Максим Кириллович подумал, подумал - и уступил Ицке безнадежно тридцать ведер вина, да подарил ему пару коз с козлятами, что обыкновенно составляет сельское хозяйство жида. Дело было слажено: Ицка Хопылевич объявил майору, что ему нужно сделать приготовительные заклинания, и для того просил две недели сроку. Майор на все сотласился, ожидая верного успеха от знахаря-жида, которого чародейскую силу видел он уже на опыте, то есть при укреплении мельничной плотины.

Дворня всякого помещика, самого мелкопоместного, есть в малом виде образчик того, что делается в большом и, скажу более, в огромнейшем размере. Домашняя челядь всегда и везде сметлива: она старается вызнать склонности, слабости, самые странности своего господина, умеет льстить им и чрез то подбиться в доверие и милость. Так было и в доме Максима Кирилловича Нешпеты. После старого капрала, ближний двор его составляли хлопцы, или псари, и пользовались осо-

бым благорасположением своего пана. Но как нельзя же быть шести любимцам вдруг, то каждый из них, наперерыв перед другими, старался прислуживаться своему господину, угождать любимому коньку его и увиваться ужом перед всем, что усмехается будущей милостию. Один из клопцев, Ридько, будучи проворнее других и подслушав род дверью разговоры своего пана с капралом, скорее всех доведалься, о чем теперь хлопотал Максим Кириллович. Ридько начал усердно расспрашивать обо всем, что только можно было в селении и в околотке узнать о кладах; и мало еще того: сам начал бродить по ночам вокруг дома, близ пустырей или старых строений, в леваде и в саду майоровом, и подмечать, не окажется ли там каких признаков скрытого в земле клада. В сих ночных поисках заметил он однажды в саду, под старую, дупловатую липой, что-то белое, свернувшееся клубком; ночь была темна, и Ридько не мог рассмотреть издали; он стал подходить поближе, и белый клуб как будто бы приподнялся от земли: Ридько ясно увидел две светлые точки, которые горели беловатым огнем, как

восковые свечи, - и мигом белого клубка и светлых точек как не бывало. Это клад: чему же быть иначе? но клад, который не давался в руки Ридьку, потому что он не знал никаких заговоров. Еще не вполне доверяя самому себе, Ридько решился дожидаться следующей ночи, и когда она наступила, новый искатель кладов пошел на то же место - и опять увидел он белый клубок, и опять две светлые точки как будто бросили на него две искры; но вслед за тем снова все исчезло. Теперь не оставалось уже Ридьку ни малейшего сомнения; он нетерпеливо ждал утра, чтоб объявить майору о своем открытии. Майор удивился и обрадовался, что ему не нужно было дальних исканий, когда клад у него был, так сказать, под рукою; но зная из рассказов, что клад иногда является только по три ночи, не хотел он терять времени и выпустить из рук предполагаемую находку. Посему он немедленно созвал свой тайный совет, состоявший из капрала Федора Покутича и жида Ицки Хопылевича; Ридько как человек, оказавший важную услугу и от которого нужно было отобрать подробные справки об отыскивае-

мом кладе, также допущен был в это совещание. Капрал предложил майору разбить клад с молитвой, по примеру старухи нищей, о которой он рассказывал; но жид, с лукавою улыбкой, пожимая плечами и потряхивая длинными кудрявыми своими пейсиками, заметил, что этим средством много что добудешь один клад, а скорее отпугаешь все другие, которые с того времени перестанут показываться искателю. Майор убедился этим сильным доводом и счел за лучшее во всем положиться на жида. Хитрый Ицка обещал научить майора какому-то заклинанию и для того, отведя его в сторону, проговорил ему слов с десятков на неведомом языке; однако же майор ни за что не хотел их вытвердить, потому что эти слова, как он весьма, основательно думал, были еврейские и могли заключать в себе или богохуление, или заклятие на душу говорящего их, - и, почему знать? может быть, формальную присягу служить сатане верою и правдою! Несмотря на все убеждения и клятвы жида, добрый Максим Кириллович остался тверд в своем упрямстве, и жид, за лишний десяток ведер вина, уступ-

ленных ему майором, договорился твердить сам свое заклинание в то время, когда майор станет бить по кладу. Сим окончилось совещание.

Товарищи Ридька, завидуя новому любимцу их пана, хотели допытаться, чем он вкрался в милость Максима Кирилловича. Подойдя на цыпочках и приложив ухо к дверям, они жадно ловили каждое слово, сказанное в светлице майоровой, и узнали все дело почти с такою ж подробностью, как и мы теперь его знаем. Любопытство и болтливость — два главнейшие порока слуг: в минуту вся дворня Майорова узнала, что в саду их пана является клад и что в этот самый вечер будут добывать его; и каждый из дворовых людей, от первого до последнего, положил у себя на сердце тайком Прокрасться в сад и высматривать из-за кустов и деревьев, что там будет делаться.

Целый день прошел в какой-то суматохе. Нетерпеливость и беспокойство ясно выказывались на лице и в поступках майора; капрал беспрестанно бродил то по двору, то по саду, то заглядывал в комнаты; жид, согнувшись и

напустя пейсики себе на лицо (может быть, для того, чтоб на лице его не могли прочесть его мыслей), ровным и скорым шагом каждый час переходил то с мельницы на господский двор, то с господского двора на мельницу; Ридько суетился, чтобы придать себе больше важности в глазах своих товарищей, и не отвечал на лукавые двусмысленные их вопросы; хлопцы переглядывались между собою, перешептывались по углам, а остальная дворня любопытно присматривалась ко всему, что делалось, и вслушивалась во все, что было сказано. Одна Ганнуся ни о чем не знала и не примечала ничего: она, пожелав доброго утра отцу своему, после завтрака села за работу в своей комнате, которой окно было на проселочную дорогу к хутору Левчинского, задумалась о нем, печалилась, что он долго не выздоравливал; игла быстро вертелась в руках ее, работа, можно сказать, горела, часы летели, и милая девушка не заметила, как время пронеслось до обеда; тем больше не заметила она, что вокруг нее все было в каком-то суетливом волнении. Сердце молодой красавицы, в минуты уединенной задумчиво-

сти, создает в самом себе мир отдельный, мир фантазии: ему нет тогда дела до мира внешнего, вещественного.

Наступил вечер; когда стемнело на дворе, все дворовые люди Майоровы, начиная от хлопцев до ринки, или коровницы, Гапки, тихонько забрались в сад, залегли в разных местах, чтоб их не заметили, и, не смея переводить дух в своих засадах, украдкой оттуда выглядывали. Около одиннадцати часов ночи Ридько вбежал опрометью в комнату майора, где капрал и жид, чинно стоя по углам и не сводя глаз с господина, ожидали условленной вести. Майор вскочил с своего места, взял большую, тяжелую палку, которую капрал для него приготовил, и скорым шагом отправился в сад; за ним, прихрамывая, но с надлежащей вытяжкой, шел капрал; рядом с сим последним подбегал жид, припрыгивая и твердя вполголоса: "Зух Рабин, Каин, Абель!" Ридько заключал это ночное шествие, неся на плечах два большие порожние мешка. Майор приостановился, увидя перед собою, шагах в двадцати, что-то белое, свернувшееся в комок. Он осторожно занес палицу свою на-

взмашь, притая дух, подкрался к белому привидению - и в тот миг, когда жид громко вскрикнул: "Зух!", майор изо всей силы хлопнул... Пронзительное, оглушающее "мяу!" раздалось по саду вслед за ударом - и белый комок, не рассыпаясь серебряными рублевиками, растянулся без жизни и движения. Домашняя челядь Майорова не утерпела и бежала отовсюду из засад своих, услышав столь необыкновенный крик; толстая, приземистая и плосколицая Гапка явилась туда из первых...

- Ох! горе мне бедной! Пан убил мою Машку! - вскрикнула Гапка и взвыла таким голосом, каким мать плачет по своей дочери.

- Кой черт! Что ты мелешь, старая дура? - торопливо и сердито проговорил майор.

- Да, вам легко говорить! Пускай я мелю, пускай я старая дура; а бедную мою Машку ухотили: уж ее теперь ничем не оживишь! - выкрикивала Гапка и заголосила пуще прежнего.

- Да скажешь ли ты мне, - с нетерпением вскрикнул майор, схватя коровницу за плечо и стряхнув ее изо всей силы, - какую Машку

ку?

- Какую? вестимо, что мою Малашку!.. Кто теперь будет у меня ловить крыс, кто будет от них очищать ледник?..

- Провались ты, негодная дура, и с проклятою своею кошкой! - бранчивым голосом сказал майор и резко махнул рукою по воздуху.

- Ох! горе мне, бедной сироте! - навзрыд твердила Гапка, припала к земле, подняла убитую кошку и с вытьем понесла ее в свою хату.

Люди майоровы, каждый смеясь себе под нос, разбрелись по своим углам; явно зубоскалить никто из них не смел: все знали, что рука их пана тяжела и что гнев его, вспыхивая как порох, иногда и оставлял по себе такие же явные следы, как это губительное вещество. На сей раз, однако же, для гнева майорова довольно было и одной жертвы, т. е. кошки, которая жизнью поплатилась за свой неумышленный обман; Ридько, столь же неумышленная причина ее смерти, отделался одним страхом. Максим Кириллович скорее прежнего пошел в свою комнату, заперся в ней и наедине переваривал свою досаду, капрал, с го-

ря от неудачи своего старого командира, к которому был он искренне привязан, побрел в свою каморку и принялся за вечернюю порцию; жид отправился в свой шинок, а Ридько, повеся нос, тихо поплелся на свой ночлег. Там, укутав голову, чтоб не слышать злых насмешек, которыми его осыпали товарищи, он шептал молитвы и поручал свою душу святым угодникам, считая все случившееся с ним бесовским наваждением.

На другой день майор поздно вышел из своей комнаты; на лице его было написано уныние, и на все вопросы Ганнуси об его здоровье отвечал он отрывисто и неохотно. Заметно было, что он боялся или стыдился напоминания о минувшей, ночи; усердный капрал прочел это в душе его и потому строго подтвердил хлопцам и всем дворовым людям не разглашать ничего о том, что было накануне, а более всего остерегаться, чтоб не промолвиться как-нибудь об этом пере их господином. Все знали, что пан и капрал шутить не любили, и тайна минувшей ночи замерла на болтливых языках домашней челяди. В скромности жидка капрал и без того был. уве-

рен, ибо Ицка Хопылевич был молчаливее рыбы, когда чувствовал, что на хранении тайны основывались для него корыстные виды.

Новое лицо развлекло задумчивость майора и даже развеселило его. Это был поручик Левчинский, выехавший в тот день впервые после болезни и поспешивший изъявить благодарность свою Максиму Кирилловичу и милой его дочери за оказанное ему участие. С ним приехал и Спирид Гордеевич, который во все время болезни Левчинского принимал о нем отеческие попечения и любил его как родного сына: это чувство было ново для доброго старика, потому что сам он не имел детей и, похоронив за три года перед тем подругу преклонных своих лет, был совершенно одинок.

Ганнуся, услышав о приезде Левчинского, смутилась и не могла ни на что решиться. Сердце влекло ее навстречу долгожданному гостю; но природная стыдливость и привычная застенчивость малороссийской панны останавливали милую девушку в ее комнате. И здесь ее состояние было почти лихорадочное: то вдруг чувствовала она легкую дрожь,

то жаркий румянец вспыхивал у нее в щеках и даже пробежал по челу, высокая грудь ее волновалась, глаза покрывались тонкою, теплою влагой... В таком состоянии борьбы провела она более получаса, пока отец не кликнул ее из другой комнаты. Тогда, собрав всю бодрость девического своего сердца, она вышла к гостям; но приближение и первый звук голоса ее избавителя снова вызвали ту же краску на ее лице и тот же легкий, электрический трепет по всему ее телу. Не скоро могла она прийти в себя и отвечать полусловами на приветствия и выражения благодарности, сказанные ей Левчинским, который, может быть, в душе своей был не более спокоен, хотя, привыкнув во время службы к светскому обращению, более умел владеть собою. Наконец, крупные слезы скатились с длинных черных ресниц Ганнуси, и она облегчила свое сердце тем, что высказала с своей стороны молодому поручику - правда, с крайним усилием и в несвязных словах благодарность свою за спасение ей жизни.

Когда холодный порядок разговора несколько восстановился и Максим Кирилло-

вич завел с Левчинским речь о старых и новых служивых, о походах и битвах, тогда Ганнуся, тихо сидевшая в отдалении с сложенными руками, по обычаю малороссийских девиц, оправилась и начала дышать вольнее. Она украдкой начала уже всматриваться в лицо своего избавителя, замечала каждую его черту, каждое движение и часто, спустя голову, вылетавшими из уст ее вздохами нагревала прелестную грудь свою.

За обедом Левчинскому случайно пришлось сидеть подле Ганнуси. Спирид Гордеевич первый это заметил; и, понял ли сей сметливый старик зарождавшуюся в молодых людях взаимную любовь или просто хотел над ними пошутить по врожденной веселости малороссиян, он громко пожелал поручику с Анной Максимовной сидеть чаще вместе, как пара голубков. Эта малороссийская аллегория означала, что он желал их видеть четою молодых супругов. Глаза поручика заблистали каким-то новым блеском, когда он поднял их на старого своего друга, как будто бы с вопросом, сбыточное ли это желание, и тотчас опустились на стол. Стыдливая сосед-

ка его зарделась, как юная роза от первых, утренних лучей солнца, и казалось, искала глазами, нет ли какого пятнышка на ее тарелке, а старый майор поморщился и старался переменить разговор, по-видимому, не весьма для него приятный.

Впрочем, добрый Максим Кириллович уже и прежде искренне полюбил поручика; а теперь, слушая жаркие его рассказы о военных делах и умные суждения о разных предметах, еще более полюбил его и звал как можно чаще к себе в дом, прибавляя, что он и дочь его всегда рады его видеть. С этих пор Левчинский сделался почти ежедневным гостем майоровым. Часто случалось ему быть глаз на глаз с милою Ганнусей; часто рука об руку прохаживались они по саду и по окрестностям, и не раз поручик имел случай облегчить свое сердце признанием в любви; но природная его скромность, недоверчивость к своим достоинствам и горькое сознание бедности, которую б должна была делить с ним будущая подруга его жизни, удерживали его и заставляли таить в душе то чувство, которое он питал к дочери майоровой.

Миновал срок, выпрошенный евреем для чародейских его приготовлений, и мало-помалу испарилась из головы майора досада от первой, неудачной его попытки искания кладов. Мысль обогащения подспудными сокровищами опять в нем пробудилась с новою силой. Тетрадь, заключающая в себе сказание о кладах, ни на минуту не выходила из широкого кармана охотничьей майоровой куртки, хотя Максим Кириллович давно уже знал наизусть все содержание любопытной сей рукописи и мог пересказать все упомянутые в ней урочища с зарытыми в них кладами гораздо безошибочнее, нежели сыновья его положение и богатство разных европейских государств на экзамене из географии. Наконец, день поисков был назначен. Еще до рассвета майор с капралом, евреем и Ридьком отправились на двух повозках; но куда? Этого никто не знал. Ганнуся, с восходом солнца встав с постели и не найдя отца своего дома, крайне удивилась. Ей не показалось бы странным такое раннее отсутствие, если б это было зимою: она знала, что в прежние годы отец ее никогда не упускал пороши, и могла бы поду-

мать, что старинная страсть снова им овладела; но тогда было лето; куда же мог он уехать так рано, не сказав ей, да еще и с такою необыкновенною свитой, как жид и капрал; ибо седой инвалид, за ранами, был вовсе уволен от опустошительных набегов охотничьих. Целое утро Ганнуся дожидалась отца своего - и все понапрасну. Левчинский приехал около полудня, времени, в которое майор обыкновенно обедал; но хозяина еще не было. Ганнуся не таила от поручика своего беспокойства: нежной дочери казалось, что с отцом ее случилось какое-либо несчастье. Она поминутно выглядывала в окна, выбегала на крыльцо, смотрела на все стороны; раз двадцать выходила она с Левчинским на большую дорогу, расспрашивала на мельнице и у всех встречных, не видел ли кто отца ее в этот день? Никто, однако ж, его не видел, никто не знал, куда и зачем он отправился.

Солнце прокатилось по всему дневному пути своему, но встревоженная девушка и не думала об обеде; гостю ее, принимавшему живейшее участие в ее беспокойстве, также не приходила мысль о подкреплении себя пи-

щю; и мог ли молодой, влюбленный офицер думать о таких ничтожных, вещественных потребах, когда он находился вместе с тою, которую любил, и притом должен был стараться ее развлекать и успокаивать? Наконец, когда солнце уже стало западать, вдруг пыль поднялась по дороге, послышался стук колес, и, спустя несколько минут, две повозки поспешно въехали в ворота. Ганнуся полетела птичкой навстречу отцу своему. Погодя немного майор вошел в комнату. На лице его написано было какое-то унылое раздумье. Поцеловав дочь свою, он выговаривал ей слегка за ее напрасные тревоги и объявил, что, желая лучше узнать все свои поля, он ездил по разным урочищам и замечал рубежи своих угодий; что с этого дня он должен несколько времени, и может быть целое лето, употребить на сие хозяйственное обозрение; и что жид Ицка Хопы-левич как человек, разумеющий отчасти землемерское дело, необходим ему при таких разъездах.

Добрая девушка тотчас поверила отцу своему; но поручик хотя и ничего не сказал, однако ж ясно видел, что для осмотра угодий не

нужно было выезжать майору до рассвета и что размежевание земель и означение рубежей не могло производиться без наряжаемых на сей конец чиновников. Левчинский не имел повода подозревать что-нибудь худое, но он успел уже отчасти узнать простосердечие и крайнюю доверчивость майора, а слышав от него, что в этом деле замешан был жид, он тотчас догадался, что здесь было не без обмана и что хитрый еврей основывал корыстные свои виды на какой-либо слабости майора. Для сего Левчинский твердо решился проникнуть в эту тайну, а до времени молчать и не наводить никаких сомнений Максиму Кирилловичу.

Каждый день майор уезжал еще до зари, и каждое утро Левчинский являлся у Ганнуси, чтобы развлекать ее в скучном ее одиночестве. Милая девушка уже не была с ним застенчива и, успокоясь насчет отлучек отца своего, радостно встречала молодого своего собеседника. Весело проводили они время в разговорах, прогулках и других невинных занятиях; они еще не сказали друг другу: "люблю!", но уже знали или, по крайней мере, по-

нимали взаимные свои чувствования. Скромные их удовольствия перерывались только возвращением майора, который со дня на день становился мрачнее и задумчивее, как человек, теряющий последнюю надежду. Это сокрушало бедную Ганнусю: она не могла вообразить, что было причиною такой печали отца ее, и не смела спросить его о том, ибо майор сделался крайне молчалив и даже утрюм. Этой перемены не могла она приписывать неудовольствию на частые посещения Левчинского, которому майор оказывал прежнюю приязнь и радушие; какая же грусть нарушала спокойствие нежно любимого ею родителя? Она терялась в догадках и, наконец, решилась поговорить об этом Левчинскому.

Поручик уверил ее, что принимал живейшее участие в ее родителе, и обещал ей дознаться, какое несчастье грозило ему или какая печаль его тревожила. Случай к тому скоро представился. Вечером, когда майор возвратился, Левчинский, простясь с ним и с Ганнусей, велел подвести верхового коня своего. Ридько, по расчетливой угодливости, по-

бежал на конюшню; между тем поручик, сошед с крыльца, сказал, что хочет пройтись пешком, и велел Ридьку вести лошадь вслед за ним. Когда они вышли за деревню, поручик, дотоле молчавший, завел разговор с своим проводником.

- Пан твой очень печалится. Не от того ли, что у вас худы посевы и не обещают хорошего урожая?

- О, нет, грешно сказать! Наши посевы хоть куда; и теперь, когда озимые хлеба уже выколосились, можно ждать, что урожай будет на диво.

- Так, может быть, посторонние завладели какими-нибудь его землями? Оборони бог! у нас нет лихих соседей.

- О чем же он так грустит?

- Да так; видно, худой ветер подул... не все то говорится, что знается...

- Послушай, Ридько! вот тебе на водку. - При сих словах Левчинский сунул ему в руку серебряный полтинник и, помолчав с минутой, продолжал: - Ты знаешь, что я люблю твоего пана и желаю ему добра. Вижу, что он почти болен от какой-то грусти, вижу, что ми-

лая, добрая ваша панянка тоскует и сохнет, глядя на отца своего, и не знаю, как помочь их горю. Пособи мне в этом: скажи, зачем майор уезжает каждое утро и в чем и какая ему неудача?

- Сказал бы вам... Да вы никому об этом не промолви-тесь?

- Вот тебе мое честное слово...

- Верю: вы не из тех панов, которые обещают и не держат слова; вы даже прежде даете на водку, чем обещаете... Только... как вы думаете: пан мой не узнает об этом? - Как же он может узнать, если я не скажу? А я уж дал тебе слово молчать.

- Не вы, а этот проклятый жид: он может отгадать по звездам и по воде, что я проговорился об этом деле.

- Небось, не отгадает; у меня есть на это свой заговор, против которого жид не устоит со всем его колдовством.

- Право?.. Так мне и бояться нечего. Только вы не будете нам мешать в нашем деле?

- Нисколько; а напротив, еще буду помогать твоему пану, когда в деле этом нет ничего худого.

- И, какое тут худо! Ведь, кажется, нет греха выкапывать клады, зарытые в земле и у которых нет хозяина, кроме иногда - наше место свято! - кроме лукавого. А вырвать у него добычу, не погубя души своей, мне кажется, не грех, а доброе дело.

- Точно. Так майор ищет кладов?.. Да нашел ли он хоть один из них?

- Ну, до сей поры мы не видали еще ничего, кроме земли да подчас старых черепьев и обломков того-сего; а мы перерыли уже добрых десятка три мест в разных урочищах, которые записаны в тетрадке у моего пана.

- Какая ж это тетрадка?

- В ней, видите, как по пальцам высчитаны все груды золота и серебра, закопанные разбойниками и колдунами в нашем краю. Да, видно, эти колдуны были посмышленнее нашего жида: сколько он ни кудесит, а все мало проку от его заговоров и ворожбы. Чуть ли он не морочит и нас, и нашего пана.

Этих известий было достаточно для Левчинского. Теперь он ясно видел, что догадки его насчет легковёрности простодушного Максима Кирилловича были основательны.

Сев на коня своего, поручик отпустил Ридька и тихо поехал домой, рассуждая о слышанном и сожалея о странном заблуждении доброго своего соседа. Вдруг ему пришло на мысль, подделаться к любимому коньку Майорову для двух причин: во-первых, чтобы сим способом еще более приобрести дружбу и доверие Максима Кирилловича и чрез то заготовить себе дорогу к его сердцу, когда дело дойдет до искания руки Ганнусиной; а во-вторых, чтобы, если можно, излечить майора от суетной мечты обогащения кладами, показав ему на деле несбыточность этой мечты. План Левчинского тотчас был составлен и одобрен собственным его умом: помощь жида в этом случае была необходима; и поручик, зная по опыту, приобретенному им в походах и квартировании по разным местам Польши и Литвы, - зная, сколько сии всесветные торгаши падки к деньгам, решился подкупить Ицку Хопылевича и тем склонить его на свою сторону. Это не трудно было сделать: Левчинский, по приезде домой, тотчас отправил своего Власа в шинок еврея, чтобы позвать Ицку в хутор и сулить ему хорошее награждение.

Влас, человек Левчинского, тот самый, которого мы уже видели на минуту в доме майоровом, был молодой, видный и проворный детина, усердный к своему господину и готовый по одному знаку исполнять его приказания, хотя бы в этом видел для себя опасность. В платье денщика он как будто бы переродился: из тихого, робкого малороссийского хлопца сделался в короткое время развязным и лихим офицерским слугою, перенял все ухватки солдатские и гордился тем, что считал себя военным человеком. Он знал по пальцам все замашки и плутни евреев и радовался душевно, если удавалось ему перехитрить жида или сделать опыт полувоинской своей сметливости, не поддавшись в обман. Привыкнув к этой игре ловкости ума, к этой, так сказать, междоусобной войне хитростей, обыкновенно ведущейся у постояльца-солдата с хозяином-жидом, Влас очень обрадовался поручению, которое дано ему было от господина, предполагая, что ему опять удастся провести жида. Бездействие однообразной жизни в уединенном хуторе уже наскучило нашему молодцу: он давно искал

случая снова развернуть свои природные и приобретенные способности ума, которых он никогда не изведывал над своим господином, может быть оттого, что не видал к сему никакого повода; или мы охотнее согласны думать, что Влас не хотел нарушать честности и верности, которые питал в душе к своему барину.

Не расседывая поручикова коня, Влас миглом вскочил на него и полетел по дороге к шинку Ицки Хопылевича. Он вошел в шинок как такой человек, которому местности подобных заведений и употребительные в них приемы знакомы как нельзя более, сел на первое место и проговорил громко и бойко: "Здорово, еврей!"

- Кланяюсь униженно вашей чести, господин служивый!- отвечал Ицка польским приветствием своего перевода, исподлбья поглядывая на приезжего и как будто бы из глаз его стараясь выведать причину столь позднего и неожиданного посещения.

- Мне надобно с тобою переговорить,- сказал Влас тем же голосом.- Эй, ты, смазливая жидовочка! вынеси этим землякам кружки и

чарки в клеть или куда хочешь, только чтоб никого здесь не было. А вы,- продолжал он, обратясь к запоздалым гулякам, - проворней отсюда за порог, не дожидаясь другого-прочего.

Все мигом выскочили за дверь, потому что малороссияне не любят или, правду сказать, не смеют спорить с москалем - так они называют всякого военного человека, особенно пехотных полков. Оставшись наедине с евреем, который в нерешимости и с тайным страхом ожидал первых слов своего собеседника, Влас в одну минуту сделал свои стратегические соображения. Он видел ясно, что ничего нельзя было от Ицки получить без важных посулов, и потому решился сделать свою попытку привычным своим средством в таких случаях, т. е. угрозой!

- Слушай, жид, - сказал он строгим голосом.- Я приехал к тебе не бражничать, как эти ленивцы, которых отсюда выпроводил. Мне нужно не вино твое, а ты сам...

- Как? - боязливо промолвил Ицка, дрожа как осиновый лист.

- Да, ты сам; готовься сейчас ехать со

мною: иначе - ты знаешь...

- Ваша честь, господин служивый! Я человек невольный, я в услугах моего пана, который поминутно меня требует, и без его ведома не смею отлучаться... дайте мне час времени! Я пойду на панский двор и спрошу позволения...

- Вздор, приятель, не рассказывай мне пустяков! Я знаю, что старый майор теперь спит, так же как и вся его дворня; а мне нельзя терять ни минуты. Сейчас же на коня и со мною...

- Да моя лошаденка теперь пасется в поле...

- А! ну, так беги пешком, только успевай за моею лошадью; не то... Я шутить не люблю!

- Воля ваша, господин служивый! у меня ноги болят: не успею.

- Так слушай же: я привяжу тебя на аркан и буду тащить за собою, как горцы таскают своих пленных. Согласен ли ты?

- Нет, уж позвольте мне лучше поискать лошаденки: может статья, какая-нибудь из соседских стоит у меня под навесом, может статья, и мою еще не угнали на пастьбу...

- Хорошо! только не думай, что можешь

меня провести и улизнуть отсюда: я старый воробей, меня на мякине не обманешь. Я сам иду с тобой и ни на миг не выпущу тебя из виду. В том моя нагайка тебе порукой.

Они вышли. Жид, видя, что все покушения к побегу были бы не только напрасны, но еще и накладны для его спины, решился облегчить неведомую, но вероятно горькую свою участь совершенною покорностью. Грозный Влас шел у него по пятам, помахивая, как будто от нечего делать, ременную свою нагайкой. Под навесом нашли они лошадь еврееву. Ицка хотел было идти за седлом, все еще надеясь как-нибудь ускользнуть от своего вожака; но Влас не дал ему и договорить своих представлений: он велел жида скинуть верхний его плащ и набросить его на лошадь вместо попоны, сам посадил его верхом, схватил повод его лошади и, сев на свою, помчался с ним во весь дух. Все это сделано было с такою поспешностью, что жена Ицки не успела опомниться: ни она, и никто из посторонних не видели и не знали, куда исчезли и сам Ицка, и страшный, сердитый москаль. Лейка, не нашед своего мужа в шинке и не докликав-

шись его по двору, всплеснула руками, взвыла и закричала, что его унес Хапун, явившийся в виде солдата.

Между тем Ицка, у которого, может быть, также бродила в голове подобная мысль, скакал по дороге с неизвестным своим спутником, не зная и не понимая, куда везли его. Он никогда еще не видал Власа, потому что Левчинский приезжал в дом майора всегда верхом и без проводника; никто из людей, случившихся на тот раз в шинке, также не знал нашего удальца. Дорогою Влас попеременно то делал жиду сомнительные, наводящие страх намеки, то наводил его на мысль о значительной награде и старался ему внушить, что не всякий тот беден, кто кажется бедным по виду и о ком идет такая молва. Несчастного Ицку порою пронимала дрожь, несмотря на духоту летней украинской ночи; иногда же кровь, отхлынув от сердца, мучительным огнем протекала по всем его членам, и окружающий воздух казался ему жарче раскаленной печи. Таково было его положение до самой той минуты, когда они подъехали к дому Левчинского. Влас немедленно ввел еврея в

комнату своего господина, и жид, увидя знакомое лицо офицера, о котором наслышался много доброго, несколько ободрился и почувствовал, что как будто бы гора спала у него с плеч. Однако же, напуганный Власом и от природы недоверчивый, он все еще не был совершенно спокоен.

Поручик решил наконец его сомнения, заведя речь о майоре и разными околичностями весьма искусно доведя ее до кладов. Не трудно было Левчинскому получить желаемое от еврея; Влас такой задал ему страх, что он и безо всего согласился бы на всякие условия, а пара червонцев, данных ему поручиком, совершенно оживила упавший дух Ицки и подкупила его в пользу молодого офицера. И вот на чем они положились: честный еврей Ицка Хопылевич должен был уверить майора, что поручик Левчинский узнал от одного колдуна в Польше тайну находить и вырывать из земли самые упорные клады, если только они не были вырыты кем-либо прежде. За это Левчинский обещался наградить еврея еще более, и они расстались, быв оба весьма довольны. Поручик - тем, что

предположения его принимали желаемый оборот; а жид - двумя червонцами и надеждою получить еще вдвое за свою услугу. Жид поехал домой уже не в таком расположении духа, как выехал оттуда, и только боялся, чтобы Влас не вздумал провожать его: хоть мысли сего честного иудея насчет его посольства и переменились, но все он думал, что для него было гораздо надежнее подале быть от этого удальца, у которого, по мнению Ицки, самому лукавому еврею ничего нельзя было выторговать, а только можно было вконец проторговаться.

Все исполнилось по желанию поручика. Ицка Хопылевич сплел майору весьма замысловатую сказку о колдуне, который, бегав обортнем и быв пойман в виде волка, избавлен был от смерти поручиком Левчинским и, в благодарность за такое одолжение, научил Левчинского трем словам, с помощью которых он мог узнавать, в каких местах клады скрыты под землею; но колдун взял страшную клятву с поручика, чтоб этих слов никому не передавать и вслух не говорить. "Все это узнал я, - прибавил жид, - от поручичьего

денщика Власа, подпоив его и разговорившись с ним под добрый час, и прошу вас, вельможный пан, держать это у себя на душе и не сказывать пану Левчинскому: иначе будет худо и мне, и нескромному денщику". Майор нисколько не подозревал обмана и принял за чистые деньги все, что жид ему рассказывал. Он обещался плутоватому еврею не говорить об этом с Левчинским и между тем твердо положил у себя на уме воспользоваться этою чудною способностью Левчинского и, если невозможно было выведать у него таинственных слов, то, по крайней мере, задобрить его всеми средствами и заманить в свои планы обогащения: т. е. склонить его вместе отыскивать клады по указанию известной тетрадки.

В первое свидание с Левчинским Максим Кириллович завел обиняками речь о том, какие богатства скрывает в себе земля украинская. Поручик, притворно не поняв его слов, отвечал, что земля сия точно богата своим плодородием и счастливым климатом; что на ней рождаются многие нежные плоды, местами даже виноград, абрикосы и проч. и что если

бы не природная лень малороссиян, которые мало заботятся о полях своих и вообще плохие землепашцы, то можно б было ожидать, что плоды земные в несравненно большей степени вознаграждали бы труд поселянина. В продолжение сей речи, в которой Левчинский хотел явить опыт своего красноречия и силу убедительных доводов, Максим Кириллович оказывал явные знаки нетерпеливости: он то морщился, то пожимал плечами, то с ужимкою потирал себе руки; наконец, не в состоянии был выдерживать долее, он вдруг вскочил с места, подошел к поручику и, поспешно перебив его речь, проговорил голосом, изъявлявшим, что собеседник худо понял его намерение:

- Не о том речь, Алексей Иванович! вы, молодые люди, подчас на лету слова ловите, зато часто и осекаетесь, и выдумываете за других, чего они вовсе не думали. Что мне до пашней и посевов? Это идет своим чередом, и не нам переиначивать то, что прежде нас было налажено... Тут совсем другое дело: я знаю, что хотя в нашем краю донныне не отыскивалось ни золотой, ни серебряной руды, а золо-

та и серебра от того не меньше кроется под землею. Просто сказать, здесь живали и разбойники, и богачи-колдуны; все же они прятали любезные свои денежки и драгоценные вещи по разным похоронкам, в урочищах, которые мне ведомы. Если б бог послал мне человека, который бы знал, как эти клады из земли доставать, то я отдал бы на святую его церковь десятую долю изо всего, что добудется, другую десятую долю раздал бы нищей братии, а остальным поделился бы с моим товарищем... А ведь есть на свете такие люди, которым открывается то, что другим не дается. Есть такие секреты и заговоры, что от них никакой клад не улежит под вемлею и никакой злой дух не усидит над ним. Иногда два-три слова - да от них больше чудес, чем от всех колдовских затей самого могучего кудесника...

- За двумя-тремя словами не постоянно бы дело, - промолвил Левчинский с видом таинственным, - но как узнать, что клад прежде не был кем-либо добыт? Силу слов истратишь понапрасну, а пользы никакой не соберешь.

- Вот теперь ты говоришь, Алексей Ивано-

вич, как истинно умный человек! - радостно вскричал майор и бросился его обнимать. - Ну, когда на то пошло, так я выставлю тебе напоказ все мои сокровища. Смотри и любуйся!

После сих слов Максим Кириллович поспешно ушел в свою комнату, схватил известную тетрадь, вынес ее и подал Левчинскому.

Поручик, едва удержавшись от смеха при сей выходке майора насчет мечтательного своего богатства, с вынужденною важностию принял от него тетрадь и пробежал ее наскоро.

- А это что за отметки?-спросил он у майора, указав на крестики, начерченные свинцовым грифелем, которым старик заменял карандаш.

- Это, сказать тебе правду, Алексей Иванович, обозначены те места, на которых я пытался уже искать кладов...

- И нашли сколько-нибудь? - подхватил поручик.

- Ну, покамест еще ничего не нашел, - отвечал Максим Кириллович с некоторым замешательством, потупя глаза в землю...- Теперь

же, - продолжал он, приподняв голову, - с божией помощью и твоим пособием, надеюсь лучшего успеха.

- От души желаю вам его и готов с моей стороны служить вам всем, чем могу, - отвечал Левчинский.

- По рукам, Алексей Иванович! - вскрикнул майор вне себя от удовольствия. - Мне как-то сердце говорит, будто бы ты по скромности не все о себе высказываешь, а знаешь многое! Ну, милости прошу завтра пожаловать ко мне до рассвета: мы вместе отправимся на поиски к Кудрявой могиле. Посмотри-ка, что там!

Майор указал в тетрадке на сокровища, по сказанию о кладах, зарытые в помянутом урочище. Левчинский прочел потихоньку и как бы обдумывал что-то. Спустя несколько минут, они расстались.

Едва занялась утренняя заря, а наши искатели приключений были уже на половине дороги. Число их теперь умножилось еще двумя, потому что поручик взял с собою Власа, предупредив майора, что этот человек, быв отлично искусен в отыскивании жидовских похоронок фуража и провизии на постоях, без

сомнения, покажет ту же самую сметливость и в искании кладов. "Притом же, прибавил поручик, - он сам знает кое-что". С новою надеждою в душе остановился майор у подняв- жия Кудрявой могилы. Это была довольно вы- сокая, круглая и островерхая насыпь, приняв- шая от времени вид самородного холма и по- крытая терновником и другими кустарника- ми, почему и получила она название кудря- вой. Влас, соскочив с повозки, взял белый ивовый прутик с каким-то черным камнем на черном снурке и начал потихоньку подавать- ся на вершину холма, держа прутик парал- лельно к земле; майор с поручиком, а позади капрал с евреем и Ридьком в молчании шли за Власом и не спускали глаз с волшебного прутика. Вдруг на полвине холма, между ку- старниками и мелким валежником, Влас остановился и вскричал: "Смотрите, господа!" Все обступили вокруг и увидели, что прутик начал тихо клониться вниз и гнул- ся до тех пор, пока черный камень совсем лег на зем- лю. Все вскрикнули от удивления, и майор ед- ва не вспрыгнул от радости. Сам еврей, не ве- ривший и, может быть, имевший причину не

верить знанию Власа, стоял в немом изумлении, с глазами, бессменно устремленными на прутик. Наконец Влас объявил, что не в силах долее держать прутика, который сделался необыкновенно тяжел, и выронил его из руки. Все кинулись разгребать валежник; Влас схватил заступ и принялся рыть землю. На аршин в глубину показался слой угольев и золы, как бы смоченной водою, далее черепья, битый кирпич и песок. Майор взглянул на поручика, и в эту минуту Левчинский, тоже пристально смотревший на майора, несколько раз пошевелил губами. Вдруг что-то звякнуло, и заступ уперся в какое-то твердое тело. Мигом все было разгребено, и открылся небольшой чугунный котел, худой и ржавый. Ицка не вытерпел: бросился к котлу, схватил его обеими руками, рванул - и из котла выпала небольшая кучка серебряных денег да пять-шесть червонцев. Жид проворно схватил все это и начал считать; но Влас, оттолкнув его, собрал деньги и поднес их майору, который, отойдя в сторону с Левчинским, принялся рассматривать и пересчитывать свою добычу. Ицка Хопылевич подошел к сво-

ему пану и с униженным видом, весьма несвободным голосом начал представлять, что третья доля всей находки, по условию, принадлежит ему. В это время Влас, как бы поверявший в уме счет майора, вдруг обернулся и сильною рукою дал Ицке пощечину, от которой два или три червонца и несколько мелких серебряных монет выскочили изо рта его. Без дальних оговорок разгорячившийся Влас начал обеими руками трясти Ицку, приговаривая:

- Тому, кто положил клад, и в голову не приходило набивать им карманы вашей братье!

- Так этот клад положен недавно? - вскричал майор, как будто бы поймав какую-то светлую мысль.

- Не верьте болтанью этого сумасброда! - отвечал Левчинский в смущении.

- Скажи, Алексей Иванович, - подхватил майор с чувством, но голосом, в котором прорывалась нетерпеливость, - скажи мне всю правду...

- Поедемте, - перервал речь его поручик, - я сам буду править на вашей повозке, больше с

нами никого не нужно... Здесь уже нам нечего делать. Влас! собери деньги и, по приезде, вручи их Максиму Кирилловичу. - При сих словах он взял майора под руку и почти насильно увел его к повозке.

- Тут что-то не просто, - вполголоса говорил капрал, покручивая седые свои усы, - тут что-то не просто!

- Я тебе все расскажу, старая служба! - отвечал ему Влас и, отведя его в сторону, продолжал: - Вот видишь ли, помещик твой небогат и доедает последние свои крохи: ищет кладов, а об хозяйстве и не думает - хоть трава не расти. Виданое ль это дело, запускать поля и пашни, которые наши истинные кормилицы, а рыться по-пустому в земле для того, что какому-то проказнику вздумалось подшутить над добрыми людьми и обещать им золотые горы там, где, кроме черепья да песку, ничего не бывало? Сам ты, умная голова, рассуди!

- Правда, правда! - промолвил капрал, как бы одумавшись.

- Барин мой видел, что майору скоро придется пить горькую чашу, продолжал Влас, - для того-то он и зарыл здесь ввечеру все то,

что сберег в походах и что старушка его скопила трудами своими и бережливостью лет десятка за два. Жаль было старой барыне расстаться с потовыми своими денежками, да, видишь, она сыну своему ни в чем не отказывает. Всего набралось рублей сотни две: этим поручик думал сколько-нибудь помочь майору, хоть до осени, пока хлеб уберется с поля. Он знал, что майор иначе не принял бы от него денег, из барской спеси, и для того придумал эту хитрость.

Почти то же, но с разными обиняками и возможною тонкостью, рассказывал дорогою майору Левчинский, во всем сознавшийся. Добрый Максим Кириллович сперва было посердился, приняв это за дурную шутку; но после, вполне выразумев намерение молодого офицера, глубоко был тронут благородным его поступком, и сам уже извинял его в душе своей за этот затейливый способ снабдить своими деньгами соседа. Однако же, несмотря на все убеждения Левчинского, майор решительно отказался взять эти деньги, даже и в виде займа. После долгих и жарких переговоров они перестали наконец говорить об этом

деле и приехали в дом майоров оба в задумчивости.

С этого дня майор все более и более упал духом. Мечты обогащения в нем замерли; Левчинский столь верно, столь живо представил ему всю несбыточность их, что, вместо прежней лелеявшей его надежды, в нем поселились раскаяние и безотрадное уныние. Уже он не выезжал до рассвета, но бессонница опять начала его мучить. Наступила осень. Поля Майоровы, оставленные без присмотра и небрежно возделанные ленивыми его крестьянами, принесли весьма малый запас хлеба; а другие и вовсе были без посева. К тому же доуки заимодавцев час от часу становились чаще, состояние домашних дел еще более расстроилось... Майор почти приходил в отчаяние: ни советы войскового писаря, ни утешения Левчинского и Ганнуси - ничто не помогало. Часто по целым ночам ходил он взад и вперед по своей комнате... и вот однажды снова вспало ему на мысль, для развлечения, пересмотреть остальные бумаги в дедовском сундуке. Ночью, чтобы прогнать свою бессонницу и убаюкать себя хотя, по-

прежнему, новыми мечтами и надеждами, он опять выдвинул с крайним усилием сундук, отпер его и начал выкладывать из него бумаги. Дошед до того места, где попалась ему известная рукопись, он приостановился и задумался. Тяжкий вздох окончил его печальные размышления; он начал рыться далее в пыльных и пожелтелых бумагах, но, к удивлению своему, находил только белые листы. Он рассудил за лучшее разом вынуть всю кипу и пересмотреть, нет ли между нею чего-либо особенного. Каковы же были его изумление и радость, когда, приподняв сии бумаги, он увидел под ними несколько длинных узких мешков из пестряди (полосатого тика) и четыре кожаные кошелька, плотно завязанные и запечатанные! "Так вот где клад!" - громко вскрикнул майор, не в силах брав владеть собою. Тотчас он схватил один мешок, потянул его слегшийся и перегнивший тик разорвался, и из него посыпались серебряные рубли. Нетерпеливый старик схватил другой мешок - из него также зазвенели рубли; в третьем и четвертом было то же; в трех остальных было мелкое серебро: гривенники, пятач-

ки, копеечки. Майор был вне себя от такого неожиданного богатства: он остановился и несколько минут смотрел на него тупыми глазами. Потом, когда первые движения изумления и радости утихли, он начал рассуждать: сперва ему пришло в голову, не снава ли мечта шутит над ним и не было ли это действием горячки, приключившейся от бессонницы; далее - не искушал ли его лукавый своим наваждением? Майор перекрестился, сотворил молитву и с болезненным чувством ожидал, что мнимый клад рассыплется прахом... но клад не рассыпался. Тогда майор с большею уверенностью, перекрестясь еще однажды, принялся за кожаные кошельки, которые уцелели еще от времени. Снурки отвалились вместе с печатями, и новый восторг для нашего Максима Кирилловича! Из кошельков высыпал он на стол целую грудку червонцев. Некогда было и думать обо сне: майор принялся прежде всего считать червонцы: их было ровно тысяча. Между ними майор заметил выпавшую из одного мешка бумажку: он развернул ее и прочел следующие слова, написанные самым старинным

почерком, на малороссийском наречии: "Сии деньги заложил аз, грешный раб божий, хорунжий Яким Нешпета, от избытков моих, на пользу и про нужду того из моих наследников, кому бог положит на сердце сберечь родовые свои документы. Не полагаю никакого на них залога; но желаю от глубины души моей, чтобы деньги сии достались не моту, не гуляке, а человеку, терпящему недостаток, от чего, однако же, да спасет господь бог род мой и племя на долгие веки!" Этот хорунжий был дед майоров, человек богатый и бережливый, и умер лет за сорок до того времени, в которое наш майор отыскал эти деньги. Добрый Максим Кириллович совершенно успокоился в совести насчет законности своего приобретения и безопасности владения оным.

Пересчитав свое золото, майор принялся за серебро. Вся ночь протекла в этом занятии, которого следствия были самые удовлетворительные и утешительные: майор нашел в мешках двенадцать тысяч серебряных рублей и на восемь тысяч мелкого серебра полным счетом. Этого было слишком достаточно для теперешних его желаний, которые, со време-

ни напрасных его поисков, сделались гораздо умереннее. Оставалось одно затруднение: куда припрятать эти деньги, чтоб укрыть их от зорких глаз и неосторожного болтанья хлопцев, от алчного чутья воров и от завистливой докучливости соседей, которые поминутно стали бы просить займы у нового богача-соседа? Майор решился дожидаться утра, чтобы посоветоваться с единственным поверенным всех своих тайн, старым капралом, и, оставя дела в том порядке, в каком мы их видели, запер изнутри дверь своей комнаты на замок и лег в постелю, не для того, чтобы уснуть, но чтобы насладиться в полноте новым своим счастьем и спо-коить волнение чувств, крайне встревоженных такою радостною нечаянностью. Груды денег, лежавшие перед ним, казалось ему, будто бы поминутно росли и наконец наполнили собою всю комнату, в которой он, от тесноты, почти не мог перевести дыхания. Не скоро мог он вздохнуть свободнее и забыться впервые после очень долгого времени сладкою дремотой.

- Кто там? - вскричал майор, услышав поутру легкий стук у двери.

- Я, ваше высокоблагородие! - раздался голос старого капрала. Майор отпер дверь, и капрал вошел.

- Здравия желаю, ваше высокоблагородие! - сказал он и остановился, остолебнев от удивления.

- Молчать, старый товарищ! - ласково молвил ему вполголоса Максим Кириллович, потрепав его по плечу.- Вот что бог посылает нам на старость.

Капрал уставил глаза на золото и серебро и не скоро мог опомниться. "Так ваше высокоблагородие все же нашли клад#, - проговорил он наконец, как будто бы не вполне еще веря тому, что видел.

- Не клад, а старинное, родовое наследство, капрал! - отвечал Максим Кириллович и в коротких словах объяснил все дело прежнему своему сослуживцу.

- Велик бог милостью, ваше высокоблагородие! Он утешил вас за долгое терпение! - проговорил капрал с облегчающим вздохом, которым он как будто бы перевел дыхание после продолжительного, тяжелого труда.

- Правда, правда, капрал, - отвечал майор,-

и мы сегодня же отслужим благодарственный молебен с акафистом Николаю Чудотворцу, скорому помощнику в бедах. А теперь пособи ты мне советом: куда припрятать эти деньги?

- Да туда же, ваше высокоблагородие, на прежнее место. Сундук этот крепок: смотрите, как он плотно окован. Мы приедем к нему новые полосы железа, свежие петли да два-три лишних пробоя с замками, так пусть-ка попытаются в него забраться; а утащить его никто не может: эдакой тяжести под мышкой не унесешь! Комнату станете вы тоже запирать двойным замком; а что нужно из денег для обиходу, отложите в железную шкатулку...

- Дельно, умная голова! - отвечал ему майор. - Так, благословясь, примемся же за дело. Принеси все, что нужно, а я, между тем, отсчитаю деньги...

Целое утро майор с капралом работали над сундуком, запершись в комнате. Хлопцы слышали стук, но не могли догадаться, что там делалось. За час до обеда майор вышел и послал за священником. Ганнуся с неописанною радостью увидела веселое лицо отца своего. Все домашние, собравшись к молебну, диви-

лись и не могли понять, за какой счастливый случай пан их так усердно благодарил бога? Но Ганнусе не нужно было знать ничего более: она видела отца своего довольным, и милая девушка, с теплыми слезами стоя на коленях, благодарила все силы небесные за избавление его от тяжкой душевной болезни.

В эту самую минуту вошли Спирид Гордеевич и Левчинский. Они стали с молящимися, и поручик, заметно было, молился с великим усердием. По окончании молебна войсковый писарь вызвал майора в другую комнату и сказал ему без околичностей, что приехал с женихом к его дочери.

- С каким женихом? - спросил майор несколько надменно.

- Сосед! - отвечал ему Спирид Гордеевич. Мы с тобою в таких летах, в которые ничего не пропускают мимо глаз; и ты, верно, заметил, что Алексей Иванович Левчинский и моя крестница Анна Максимовна давно любят друг друга.

- Любят! этого мало. Хорошо любить, да было бы чем жить. Куда он приведет мою дочь? У него только и есть, что ветхая хатка, кото-

рая скоро от ветра повалится.

- Откуда такая спесь, любезный кум? Сказать ли тебе всю правду: ведь ты сам немногим чем его богаче...

- Ну, бог вещь! - перервал его речь майор, приосанившись и потирая себе руки.

- Но пусть и богаче, - подхватил войсковый писарь, - в чужом кармане считать я не умею и не охотник. Дай бог тебе разбогатеть; тебе же лучше. Худо только то, что ты не помнишь добра, которое тебе сделано: ты позабыл уже, что Левчинский жизнью своею купил себе невесту, что для твоей дочери бросался он на верную почти смерть...

- Полно, полно, Спирид Гордеевич! - вскрикнул растроганный майор. - Вот тебе рука, что сватовство твое не пошло на ветер. Быть так! пусть Ганнуся будет женою Левчинского. Видно, на их счастье... Скажу тебе, дорогой мой кум,- продолжал он, понизив голос, - что нынешнюю ночь бог послал мне...

- Клад? - вскрикнул войсковый писарь с лукавою улыбкой.

- Пропадай они, эти проклятые клады! - отвечал майор. - Нет, друг мой, этого грех на-

звать кладом: я отыскал дедовское наследство. - Тут майор снова рассказал о своей находке и подал найденную им записку войсковому писарю.

- Подлинно, в этом виден перст божий! - молвил Спирид Гордеевич, пробегая записку. - Сам бог благословляет наших молодых людей и посылает тебе это неожиданное счастье, чтоб не было больше никакого препятствия их союзу. Правда, и без того они богаты не были б, а сыты были б. Ты знаешь, у меня нет ближней родни, а дальняя богаче меня вдесятеро и спесивее всотеро: ни один из этих родичей на меня и смотреть не хочет. Имение мое не родовое, а трудовое; я властен им располагать, как хочу...

- Что же ты из него хочешь сделать? - подхватил майор с обыкновенною своею нетерпеливостью.

- Я разделю его на две части, - отвечал Спирид Гордеевич, - одну при жизни еще уступаю Левчинскому, нареченному моему сыну; а другую по смерти моей завещаю своей крестнице, будущей жене его...

- Добрый, добрый сосед! милый, дорогой

кум! - повторял Максим Кириллович в сильном движении души, крепко сжимая в дружеских объятиях, своего соседа.

- Пойдем же благословить наших детей, - отвечал сей последний, тихо вырываясь из его объятий, - зачем томить их долее мучительною неизвестностию!

Они вышли, держа друг друга за руки, и застали молодых людей в робком ожидании. Ганнуся сидела в углу, повеся голову; Левчинский стоял подле печки, сложа руки и устремля глаза на синие изразцы, как будто бы хотел срисовывать все вычурные фигуры, которыми они были изукрашены.

- Вот, Максим Кириллович, прошу принять нареченного моего сына к себе в зятя, - сказал войсковой писарь церемониальным голосом, взяв Левчинского за руку и подведя его к майору.

- Рад хорошему человеку, - отвечал майор таким же тоном, - и уверен, что дочь моя будет с ним счастлива.

Через две недели все соседство пировало свадьбу Левчинского и Ганнуси. Брачные пиры продолжались несколько дней, и даже

Спирид Гордеевич отбросил на время расчетливую свою бережливость: он, по тогдашнему понятию, пышно угостил созванных им соседних панов. Старый капрал, в день свадьбы доброй своей панянки, одевшись по-праздничному, бодро притопывал здоровою своею ногою под веселую музыку мятелицы, журавля и других плясовых малороссийских песен; а еврей Ицка Хопылевич как человек на все способный и всегда готовый угождать своему помещику явился с своими цимбалами подыгрывать гуслисту и двум скрипачам, которых выписали из города.

Несмотря на все старания Максима Кирилловича, слух о быстром его обогащении скоро разнесся по всему околотку. Все узнали, что у него проявилось много денег, не узнали только, откуда он взял их. Стали доведываться у хлопцев, и те проболтались, что пан долгое время искал кладов. Ясное дело: он разжился найденными в земле сокровищами! Много нашлось охотников обогатиться этим легким способом; но все они не так счастливо кончили, как старый наш майор: не у всякого был такой добрый и предусмотрительный дедуш-

ка!

Заимодавцы Майоровы снова явились к нему, уже не с криком и угрозами, а с поздравлениями и низкими поклонами. Все они получили сполна свои деньги и от души пожелали другим своим должникам, в состоятельности коих не были уверены, так же счастливо поискать кладу.

Ицка Хопылевич также явился однажды с своею претензией, как говорил он. Честный еврей расчел, что, по условию, ему следовала третья доля из находки майоровой; но Левчинский с смехом вызывал его отгадать посредством своей науки, где Максим Кириллович нашел свой клад; а Влас, случившийся тут же, советовал Ицке лучше прятать третью долю, которую отсчитает ему майор, нежели то серебро, которое он хотел утаить на Кудрявой могиле. "Иначе, примолвил насмешливый Влас, - щеки твои опять рассыплются кладом. Ты знаешь, приятель, что и я отчасти смышлен в колдовстве и без волшебного прутика знаю, где отыскивать серебро".